

ВЯЧЕСЛАВ
ПЬЕЦУХ



ПЛАГИАТ

Вячеслав Алексеевич Пьецух

Плагнат. Повести и рассказы

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=162542
Пьецух В. Плагнат: НЦ ЭНАС; Москва; 2006
ISBN 5-93196-602-1

Аннотация

Новая книга прозы Вячеслава Пьецуха, как обычно, дерзкая и вызывающая. Тем более что, как следует из названия, сам автор чистосердечно признает за собой великий грех, от которого пишущие всегда предпочитают всячески открещиваться. Писатель замахнулся ни много ни мало, нет, не «на Вильяма нашего Шекспира», – на Льва Толстого, Гоголя, Чехова, С.-Щедрина. Ему, видите ли, показалось это любопытным... Одним словом, с ним не соскучишься.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора

Льву Николаевичу

Баллада о блудном сыне

Утро Помещика

Николаю Васильевичу

Демонстрация возможностей

Антону Павловичу

Наш человек в футляре

Д. Б. С.

Колдунья

Крыжовник

Михаилу Евграфовичу

История города Глупова в новые и новейшие времена

Город Глупов в последние десять лет

Содержание

ОТ АВТОРА	4
Льву Николаевичу	5
БАЛЛАДА О БЛУДНОМ СЫНЕ	5
ДЕТСТВО	5
ОТРОЧЕСТВО	13
ЮНОСТЬ И ТАК ДАЛЕЕ	22
УТРО ПОМЕЩИКА	32
Николаю Васильевичу	39
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ	39
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Вячеслав Пьецух

ПЛАГИАТ

Повести и рассказы

ОТ АВТОРА

Плагиат (от лат. *plagio*, похищаю) – литературное воровство, когда писатель или художник выдает чужое произведение за свое.
Полный толковый словарь иностранных слов Н. Дубровского.
Москва, 1905 г.

Однако в том случае если автор сам признает за собой сей грех и даже простодушно называет свое сочинение «плагиатом», то это уже как бы не полное, а относительное воровство.

Тем более что фабульная основа – категория бессмертная, кочевая, как Вечный Жид, то есть она переходит по наследству от одного поколения писателей к другому наравне со словарным запасом и законами языка.

К тому же литература и жизнь не стоят на месте, а непрерывно развиваются в непонятном направлении, и если позавчера странствующий рыцарь был олицетворением благородного беспокойства, то сегодня может случиться так, что настоятельно требуется изобразить его в качестве баламута и дурака. Или наоборот.

Причем нельзя сказать, чтобы автору нечего было представить своего, единственного, рожденного и выстраданного собственным разумом, а именно что гуманистические идеи, настоятельно требующие художественной обработки, – наперечет. Так, в свое время «Сказание о Гильгамеше» само собой перетекло в «Илиаду», та превратилась в «Гаргантюа и Пантагрюэля», эти трансформировались в «Божественную комедию» и в конце концов явилась «Война и мир».

С другой стороны, великие предшественники так много начудили по линии художественной обработки, что им остро хочется надерзить. И надерзить предпочтительно на их собственном материале, желательно устами их же персонажей и по возможности тем же самым каноническим языком. Например, Гоголь доказывал, что в XXI столетии русский человек станет совершенен духом, совсем как Александр Сергеевич Пушкин. А он почему-то получился невежа и обормот. Так же любопытно было бы перенести чеховских героев, сто лет тому назад бредивших светлым будущим, в наш злополучный век. То-то они заскучили бы по крыжовенному кусту. Отсюда и «Плагиат».

Льву Николаевичу

БАЛЛАДА О БЛУДНОМ СЫНЕ

ДЕТСТВО

Когда я родился, Москва была совсем не та, какая она теперь. Тогда наша столица, на манер яичницы по-крестьянски, состояла из разных разностей, например: арбатского малолюдства, бедности, имперского неоклассицизма с бантиками, битком набитых трамваев, которые противно визжали на поворотах, деревянных домиков самого провинциального вида, трофейных автомобилей, инвалидов, заборов, покрытых матерными инскрипциями, дворников в белых фартуках, бараков, провонявших селедкой и жареным луком, гигантских портретов вождей на кумачовом фоне, конского навоза обочь тротуаров, офицерских шинелей, бандитов и запаха пирожков. Тогда еще Москва кончалась на Окружной железной дороге, Черемушки были обыкновенной деревней, и сразу за Калужской заставой начинался большой пустырь.

В те годы москвичи, жившие по ту сторону Садового Кольца, если смотреть с каланчи сокольнической пожарной части, считались людьми особенного разбора, то есть считались между нами, обитателями окраин, которые, кажется, и тогда составляли огромное большинство. Самих же себя – насельников Перова, Нижних Котлов, Измайлова, Останкина, Марьиной Рощи и прочая, и прочая – мы без обиды трактовали как более или менее простонародье, черный московский люд. Но, в свою очередь, нас считали аристократами жители ближних подмосковных поселков и деревень.

Я родился как раз на границе Москвы окраинной и ближнего Подмосковья, за Преображенской заставой, в селе Черкизове, в двух трамвайных остановках от первого очага европейской цивилизации – кинотеатра с мудреным названием «Орион».

Надо полагать, довольно долго география моей жизни ограничивалась размерами нашей комнаты, в которой вместе со мной существовали мать, отец, старший брат, потом скончавшийся от менингита, и няня Ольга Ильинична Блюменталь. Няня была еврейка, но из прогрессисток последнего имперского поколения и не водилась со своей богатой родней, ни слова не знала на жаргоне (а может быть, притворялась, что не знала) и считала еврейство пережитком античности, который рассосется во времени, как в человечестве растворились бургунды и вотяки. Когда я смотрел на ее милое, улыбочное лицо с несколько выпученными глазами, то всегда спрашивал себя: отчего это быть евреем так же неприлично, как матерщинником, воришкой и, наверное, вотяком?..

Размер нашей комнаты не превышал десяти квадратных метров, но, правда, потолок был очень высокий, и по малости мне всё казалось, будто бы повыше абажура уже начинаются облака. Главной достопримечательностью этого помещения была голландская печка высотой почти до потолка, с медной отдушиной и слегка пожелтевшими изразцами, которые от старости подернулись паутиной тонких-претонких трещин, вечно складывавшихся то в профиль, то в географическую карту, то в какие-то древние письмена. Интересно, что топила наша голландка не из комнаты, а из прихожей, по барскому образцу.

Сразу за печкой стояла моя детская кроватка, железная, выкрашенная больничной краской, с веревочной сеткой ромбами, которая не давала мне вывалиться вовне. На самых первых порах это «вовне» представлялось опасным, даже враждебным, поскольку по выскабленному полу временами проскальзывала мышь, и предметы смотрели пугательно,

особенно радиоприемник «Телефункен», который моргал зеленым глазом и говорил непонятные, угнетающие слова. Сейчас кажется, что зачаточное понятие о родине возбудила во мне именно моя детская кровать – такое огороженное со всех сторон, теплое, пахнущее крахмалом пространство, где тебя точно никто не обидит и не предаст. Помнится, я часами простаивал в ней, будто на капитанском мостике, ухватившись, словно за поручень, за обвод сетки, и наблюдал окружающий мир, как если бы это были неизвестные острова.

Вот родительская кровать красного дерева, необъятная в длину и ширину, на которой, по моим расчетам, могло бы поместиться все население нашей коммунальной квартиры плюс молочница Татьяна и дворник Афиноген. Вот трюмо (еще бабушкино трюмо) с тонкими вазочками из прозрачного стекла на один цветок, статуэткой, изображающей Адетту на полупальцах, шкатулкой с сокровищами и граненым флаконом, в котором держали вонючий одеколон. Вот отцовский письменный стол у окна, со множеством ящиков, где водятся пропасть любопытных вещей, как-то: сломанный фотоаппарат размером чуть ли не со спичечный коробок, патефонные иголки, которыми ловко отколупывать оконную замазку, турецкий нож; на столе стоит проклятый «Телефункен», вывезенный отцом из Германии вместе с портативным патефоном, персидским ковром и выходным костюмом модели «гольф». Вот окно и вид из окна: палисадник с георгинами, наша немощеная улица, бревенчатый дом напротив, почерневший от дождей, с резными наличниками, левее – чугунная колонка, выкрашенная голубой краской, из которой мы берем воду, правее – чей-то глухой забор.

Далее в нашей комнате располагались старинный застекленный поставец, заменявший нам буфет, топчан, на котором спала няня Ольга Ильинична, и этажерка с книгами, почему-то нимало меня не интересовавшими до тех самых пор, пока я не выучился читать. Посредине комнаты стоял стол, на котором спал мой старший брат в его бытность с нами; в дневное время суток столешница была покрыта зеленой плюшевой скатертью с бахромой.

Этой микрогеографией исчерпывалось мое представление о макром мире, наверное, лет до трех, хотя меня дважды в день возили в плетеной коляске гулять по улице и двору; странно, что в младенчестве разум совсем не аккумулирует новые впечатления, тогда как играючи осваивает самые трудные языки. Первое же мое воспоминание о большом мире таково: я сижу один на одеяле, растеленном под каким-то кустом у нас на дворе, и держу в руках резиновый мячик, наполовину синий, наполовину красный, от которого пахнет как от нашей москательной лавки на углу улицы Хромова и Зельева переулкa, где, в частности, продавалась металлическая посуда, гвозди и керосин. Следовательно, мне уже давали кое-какую волю, но за ворота еще долго не выпускали, так как по нашей улице два-три раза в день проезжали грузовики (легковые автомобили тогда еще были в редкость по окраинам), и даже взрослые боялись их как огня. Оттого в течение многих лет география моего детства была ограничена двором, но, впрочем, предосторожности оказались напрасными – в 1955 году возле дровяного сарая меня сбил пьяный мотоциклист.

Двор наш, который поди и сейчас показался бы просторным, в детстве представлялся бесконечным, как вселенная, так что в нем постоянно находились неисследованные уголки. Прямо напротив черного хода открывалась поляна, частью вытопанная, частью поросшая муравой. По левую руку был сад, где росли яблони, сливовые и вишневые деревья, крыжовенные и смородиновые кусты. За садом стояла банька, в которой мылись, стирали и рожали поколения моих предков, а при мне уже жила бывшая прислуга Марья Ивановна, ее муж Степан, которого никогда не видели трезвым, и их сын Борька по прозвищу Шмаровоз. За банькой были заросли конопли; вот ведь как время летит: сейчас за эту коноплю полдома пересажали бы, а тогда она росла себе и росла.

По правую руку чередой стояли сарай, в которых держали всякую всячину, но по преимуществу березовые дрова. Запасались ими по осени, и где-то в начале октября у нас на дворе то и дело появлялся одноглазый мерин Задор, запряженный в телегу на резиновом

ходу, которая была нагружена березовыми чурками и рамой кубометра, сваренной из железного уголка. За сараями была помойка, то есть большой дощатый ящик, похожий на секретер, который распространял тошнотворный запах в диаметре от крайнего сарая до кучи битого кирпича.

Вся эта география с трех сторон была огорожена сплошным забором в человеческий рост, а с улицы – палисадником по фасаду и двумя огромными воротами на массивных петлях, которые скрипели душевынимательно, как визжит ножик, царапающий по стеклу. Странно сказать, но все это была Москва – в десяти минутах неспешной ходьбы уже тренькали трамваи и фланировала, по тогдашним моим понятиям, праздничная толпа...

Ничего этого теперь нет. Видимо, нигде так искрометно не бежит время, как в России, хотя по существу в ней не меняется ничего. Ведь и пятидесяти лет не прошло, а решительно не узнать географии моего детства, точно ты спяну очутился в другом городе, – всё другое, одна Яуза, образец постоянства, как текла себе с юго-востока на северо-запад, так по-прежнему и течет. Под стать ей разве что вечная обостренная памятьливость детства, которую объяснить можно, постичь нельзя. Почему, спрашивается, я ни синь порошу не помню, что любопытного произошло со мной в 1981 году, но вижу, точно это было вчера, как Борька Шмаровоз вертит над головой благим матом орущего кота, держа его за пушистый хвост...

По мере приближения к школьному возрасту мой большой мир постепенно расширялся, расширялся, и потом я уже забредал столь далеко, что не раз пугался не на шутку, обнаружив себя в нескольких кварталах от дома, в местах настораживающе-незнакомых и романтически-невозможных, как Принцесы острова. Но сначала я освоил нашу улицу, сплошь состоявшую из одноэтажных и двухэтажных бревенчатых домов, одной стороной упиравшуюся в Халтуринскую улицу, а другой – в Преображенский Вал, где было уже настоящее городское движение, попадались даже экскурсионные автобусы, видимо, сбившиеся с маршрута, «опель-адмиралы» с брезентовым верхом и огромные телеги, обитые жестью, которые собирательно назывались – ломовики. На нашей улице стояло кирпичное здание школы, куда меня впоследствии записали восьми лет отроду, детская библиотека, похожая на сельскую, маленькая фабрика, где шили рабочие рукавицы, – больше достопримечательного не было ничего. За Халтуринской улицей открывался довольно большой Черкизовский пруд, из которого вытекала река Хапиловка, грязная и зловонная, почему-то часто вторгавшаяся в мои сны: мне снилось, будто бы я купаюсь в этой самой Хапиловке среди гадов и каракатиц мелового периода, которые норовят меня укусить.

А за Преображенским Валом начиналась настоящая, форменная Москва. Тут уже сплошь стояли огромные каменные дома, проезжая часть была вымощена булыжником, блистал кинотеатр «Орион» с небольшим садом на задах, где еще при нэпе наладили тир и продажу пива, прохаживались милиционеры, которых тогда называли милицейскими, в кубанках и красным шнуром на шее, тянувшимся к тяжелой, толстокожей, коричневой кобуре. С противоположной стороны мир кончался на Метрогородке, где, по-видимому, в тридцатые годы жили строители московской подземки, а за ним начинались гиперборейские просторы, и так до самого острова Сахалин.

Даром что мы считали себя полноправными москвичами, в центр города я в детстве выбирался считанные разы. Каждый раз это было настоящее путешествие, связанное с известным риском, и в пределах Садового Кольца я чувствовал себя первопроходцем и чужаком. Я боялся переходить улицы и ступать на ступеньки эскалатора в метро, пугался клаксонов и прохожих в редких тогда темных очках, меня смущало многолюдство, незнакомые запахи, буйство вечерних огней, невиданные одежды, – словом, в своем родном городе я был суший провинциал.

Впоследствии моя личная география значительно расширилась и простерлась вплоть до монгольских степей и непролазных снегов канадского острова Ньюфаундленд, но нико-

гда я не испытывал того нервного восторга, как при переезде из своего Черкизова на Арбат. Любопытно, что с годами география стала сужаться, и мне отлично известно, до каких пределов она ужмется в конце концов.

Уже после того как я освоил свой двор, но прежде моих первых вылазок за ворота, мне предоставили свободу передвижения по всему нашему дому – от подвала до чердака. Теперь такие дома можно встретить только в глубокой провинции – двухэтажные, обитые тесом, крытые железом, которое насквозь прогнивало регулярно на каждый десятый год, – а в пору моего детства ими было застроено пол-Москвы. Кроме них по окраинам господствовали строения как бы дачной архитектуры, с башенками, шпилями, верандами, застекленными красным и зеленым стеклом, а также уже упомянутые бараки, по которым ютилась тогдашняя беднота. Кстати заметить, от нынешней бедноты она отличалась тем, что была поразительно многодетна, и того ради собирала по соседям бросовую одежду, ходила в галошах на босу ногу, по праздникам безобразно пьянствовала под гармошку и питалась исключительно селедкой, дешевле которой тогда не было ничего. Что там ни говори, а за последние пятьдесят лет русский люд сказочно разбогател, но в том-то опять же и заключается загадка вообще загадочной нашей жизни, что в Европе мы, как и прежде, беднее всех.

Так вот в нашем доме было всего четыре коммунальные квартиры, по две на этаж, две лестницы – парадная, с мраморными ступенями, и «черная», сплошь деревянная, – двухместная уборная внизу и вверх, замечательные такой слышимостью и вонючестью, что в сознательные годы было жутко туда ходить. Со двора наш дом украшали четыре застекленные веранды, по одной на квартиру, где при моей прабабушке сумерничали за самоваром и развлекались игрой во «флирт», а в мое время выставляли всякую рухлядь и хозяйки сушили постиранное белье. Слева от «черного» крыльца была выгребная яма, еще издали дававшая о себе знать, которую раз в полгода приезжали чистить золотари. В нижних квартирах имелись подполы, где держали кушанья в огромных кастрюлях, соленья в бочонках и разные овощи про запас. Один раз я по малолетству свалился в подпол и чудом остался жив.

В квартире № 1 обитала собственно наша семья, сумасшедший Александров (то есть настоящий сумасшедший, воображавший себя прокурором Московской области) и старуха по прозвищу Колдунья с великовозрастным сыном Костиком и снохой. Костик ловко мастерил бумажные вертушки на палочках, и детвора его любила, а мать Колдунья была старуха злобная, ругательница и во время приступов вражды между нашими семьями делала нам такие гадости, в какие теперь и поверить трудно, например, возьмет и потихоньку положит обмылок в суп. В квартире напротив жили порознь две одинокие старухи, занимавшие крохотные комнатки, пожилой охотник, кажется, действительно ничем, кроме охоты, не занимавшийся и постоянно раздававший соседям подсушенные крылья селезней, плюс семья железнодорожника Прыщева, состоявшая из его жены, двух дочерей и древней-предвечней матери, которая ослепла еще в Первую мировую войну, и про нее говорили – «выплакала глаза». В квартире над нами жили наши близкие родственники, всё потомство моей прабабушки женского пола, за исключением дяди Толи Черкасова, горького пьяницы, умудрявшегося пропивать даже женино поношенное белье. В квартире же № 4 на втором этаже собрался своего рода интернационал: тут жила чета латышей с дочкой Алисой, моей ровесницей, семья высланных в центральные губернии еще по следам восстания 1863 года поляков во главе с Ядвигой Станиславовной Кавалерович, которая кругло выговаривала звук «л» и поражала нас деликатными, немосковскими повадками, и наш дворник, татарин Афиноген. Все квартиры были похожи друг на друга, как похожи собачьи конуры, однако, помимо мест общих, обыкновенных, были в нашем доме и таинственные места. Во-первых, чердак; мы много раз обследовали его на пару с Борькой Шмаровозом, надеясь обнаружить средневековые доспехи или клад старинных монет, но нашли только конский череп почему-то, цирковую афишу, относившуюся к 1911 году, и амбарный замок размером с футбольный мяч. Во-

вторых, чулан; мне отчего-то чудилось, что в нашем чулане непременно должен начинаться подземный ход, который мог вести, положим, к церковке на берегу Черкизовского пруда или в тюрьму под странным названием «Матросская Тишина».

В сословном отношении население нашего дома было скорее однородным, всё окраинный московский демос и простота, но среди обитателей нашей улицы уже встречался чужеродный, как бы аристократический элемент. Так, в доме напротив сплошь жила старая московская интеллигенция из Барановых и Кривцовых (уж не потомки ли последние были знаменитого декабриста?), которые отличались такой кротостью, покладистостью, что даже не оборачивались, когда наши уличные мальчишки дразнили их унижительными словами, а то и бросали вслед мелкие фракции кирпича. Кажется, кто-то у них сидел.

Мне с младых ногтей претила не то что всяческая жестокость, но даже простая неблагорасположенность к человеку, тем более не спровоцированная ничем, и во мне что-то обмирало и обрывалось, когда я встречался с таинственной, отталкивающей, бесконечно пугающей силой, побуждающей людей ни с того ни с сего обижать соседей или вертеть кошек над головой. И вот поди ж ты: меня тоже раздражали Барановы и Кривцовы своей вечной опрятностью, смирением и невозмутимостью в ответ на глупые выходки простонародья, каковые качества точно были паче гордости и нестерпимее хвастовства. Какими-то они казались противно чужими, эти люди, иноземными и по-настоящему сердили своей непохожестью на обыкновенное большинство. Помню, как Иннокентия Баранова, бывшего старше меня года на два, тогда первоклассника, спросил старик-завуч, живший с ним по соседству:

– Ты почему, Баранов, плохо учишься, отвечай?!

Кеша ответил:

– Потому что во многие знания многая печали.

И я отлично помню, как этот ответ меня озадачил и рассердил. Видимо, в то время мое детство было на исходе и ангельское во мне постепенно угасало, коли я уже был способен злиться и не любить.

На противоположной стороне улицы, рядом с Барановыми и Кривцовыми, обитала как бы племенем такая несусветная чернь, что даже обыкновенное большинство относилось к ней несколько свысока. Они были неясной национальной принадлежности, с европейскими чертами, но скуластенькие, и при этом отличались каким-то спотыкающимся произношением и немосковскими обычаями, чего ради каждый из них носил собирательное прозвание – печенег. Эти самые печенеги были прямо библейской беднотой, чуть ли не до лохмотьев, и наша улица постоянно собирала для них то детские вещи, то предметы мелкого обихода, то медными деньгами на еду; тогда еще существовала по окраинам своего рода общинность, народная солидарность в противовес людоедской направленности русского государства, и поделиться с соседом было таким же естественным побуждением, как попить; сдается, народы тоже по временам впадают в детство (например, под видом социальных революций), а потом выпадают из него больно и тяжело.

В двухэтажном бараке, населенном печенегами, постоянно случалось что-нибудь ужасное, неслыханное, вносившее в жизнь нашей улицы остродраматический элемент. То состоится дикая драка с применением рубящего оружия, то ребенок обварится кипятком, то удавится многодетная мать, и ее тело, завернутое в грязную простыню, зачем-то выставят напоказ. Разве еще у нас отличались супруги Ковалевы, то есть военный летчик Сергей Ковалев раза два в неделю гонялся с ножом по улице за своей Клавдией Ковалевой, а так жизнь текла мирно, благопристойно, и целым событием, живо занимавшим детей и взрослых, могли послужить новые сапоги дворника Афиногена или чей-нибудь пропавший велосипед.

Однако же были на нашей улице и люди по тогдашним понятиям фантастически богатые, но они не только не кичились своим достатком, а тщательно скрывали его от взыскую-

щих глаз соседей, поскольку по какой-то таинственной причине благосостояние в те годы всем было сильно не по нутру. Вероятно, на фоне всеобщей бедности, причем бедности как способа существования и государственной философии, даже простая обеспеченность представлялась противоестественной и воспринималась как психическая болезнь. Много, если наши богачи позволяли себе пыжиковый воротник на новое пальто, подбитое ватой, и только в родных стенах, за закрытыми дверями, роскошествовали почему зря. Я как-то попал в дом к директору комиссионного магазина (сейчас уже не упомяну, по какому случаю) и был несказанно поражен увиденным: в комнате стояла полированная мебель и две напольные китайские вазы, под потолком висела хрустальная люстра, да еще к обеду хозяину подали запотевший графинчик водки и полбутылки вина, и я тогда подумал: «Какой разврат!».

Как и редкие богачи, то есть несколько особняком, жили на нашей улице еврейские семьи, все носившие русские фамилии, за исключением Гершензонов, с которыми я был не коротко, но знаком. Собственно, по-настоящему я водился с чернявенькой девочкой Розой Гершензон – с ней у нас впоследствии был роман. Семья Розы жила небогато, но в комнате у них меня заинтриговал старинный комод с непомерно объемными ящиками, в каждом из которых можно было разместить по маленькому слону. Я поинтересовался у бабушки моей подружки, древней еврейки, еще носившей парик по ветхозаветному обычаю, что они держат в этих огромных ящиках, уж не оружие ли на случай вторжения и войны? Бабушка отвечала, что в четырех ящиках старинного комода она спрячет четырех своих внуков, если начнется еврейский погром и станут резать детей Авраамовых, как это неоднократно бывало в прежние времена. «Выдумывает старуха...» – подумал я.

В общем же впечатление от человечества тогдашней поры, взрослых спутников моего детства, складывалось такое: некая поголовная озлобленность спланивала этих людей в одну обширную, разношерстную, вечно чем-то озабоченную семью. Побудительное качество, судя по всему, объяснялось тем, что наше простонародье в 1917 году возвысило до гражданства, но физически оно по-прежнему существовало на положении податного сословия, которое, как черной оспы, боится городского, холит единственный выходной костюм, боготворит власти предрежающие, но, впрочем, всегда имеет что-либо из горячего на обед. Гораздо позже я встречал такого рода озлобленность среди дворников с высшим образованием и крупных чиновников, разжалованных за казнокрадство и кутежи.

Кстати, о кушаньях той поры... При тогдашних плачевных недостатках люди нашего круга питались куда положительней чем сейчас. Бутерброды в то время относились к дурному тону, и на завтрак, как правило, ели каши, например, пшенную с тыквой или гречневую с молоком; на обед подавались супы в широчайшем ассортименте и у добрых людей непременно с кулебякой вместо хлеба, на второе – какое-нибудь жаркое, иногда изысканное, с нынешней точки зрения, как-то: мозги с горошком и, положим, грушевый компот с котлетой из картофеля на десерт; в ужин обходились одним блюдом и главным образом пили чай. Такая гастрономия тем более замечательна, что моя мать в те годы зарабатывала на своем заводе семьсот рублей в месяц, моя няня Ольга Ильинична Блюменталь получала триста, муку и яйца *выбрасывали* (то есть пускали в продажу) изредка, любительскую колбасу покупали только с полочки, бутылка водки стоила двадцать семь рублей с копейками, сайка хлеба – шестьдесят копеек, и два рубля двадцать копеек стоила пачка папирос «Беломорканал»; если ненароком испачкать новое пальтишко, то родители с горя могли побить.

К концу 50-х годов жизнь черкизовского мирка стала постепенно, но очевидно меняться к лучшему и приметы столичного быта мало-помалу явились в нашем глухом краю: по Халтуринской улице пустили автобус, и под него сразу же угодил мальчик из нашей школы, на углу Зельева переулка поставили будку телефона-автомата, куда поначалу бегала звонить вся округа, не столько по надобности, сколько из баловства, наконец, на нашей улице открыли настоящий продовольственный магазин. Прежде родители *отоваривались* в

маленькой палатке на Просторной улице (предварительно выстояв фантастической длины очередь с номером на ладони, написанным химическим карандашом), где всегда можно было купить слипшуюся карамель подушечками, воблу, точно сделанную из жести, водку, запечатанную сургучом, и какую-то скукожившуюся, багрового цвета, почти несъедобную колбасу.

Но люди, на моей детской памяти, не становились ни лучше, ни хуже, а всё так же, как в эпоху маленькой палатки на Просторной улице, ссорились друг с другом, вечерами пели романсы под мандолину и так противно храпели, что я часто просыпался по ночам и потом долго не мог заснуть. Однако даже самые отъявленные хулиганы в те годы свято соблюдали правило не бить лежащего, и соседи могли накормить обедом, если мать задерживалась на работе, из чего я теперь делаю вывод, что неуклонный прогресс нравственности – выдумка и небылица, что человечество то вдруг дуреет, то вдруг умнеет, и эти колебания зависят неведомо от чего.

В детские годы мне дела не было до человечества, и, помнится, я был сосредоточен по преимуществу на себе. Вообще генеральное ощущение этих лет такое, что будто бы ты – первейшая фигура на свете, и ради одного тебя каждое утро всходит солнце, растут в палисаднике прекрасные цветы, курсирует автобус по Халтуринской улице и взрослые нарочно говорят малопонятные, но заманчивые слова. И это немудрено: незапятнанным сознанием начинающий человек по справедливости ощущает себя центром мироздания, исходя хотя бы из того, что он ровно счастлив, от будущего ждет только хорошего, что в детские годы не бывает мучительных мыслей и вечность непреложна, как небосклон. Между тем за окошком по временам стоят трескучие морозы, и родители не пускают гулять, большие грубят и делают неприятности, по радио передают всякие ужасы (например, про злодеяния корейского диктатора Ли Сын Мана), и оттого ребенок чувствует себя избранником, счастливчиком из счастливчиков, причиной, объектом и заводилой всеобщего бытия. Недаром его глубоко оскорбляют уродства, к которым равно относятся собачьи отправления и матерные слова. В общем это суеверие, будто человек есть прежде всего общественное животное; он прежде всего – единственное дыхание на земле, ощущающее себя единичным, началом и концом в одном лице, центром мироздания, вокруг которого вертится всё и вся. Недаром одним из первых отвлеченных соображений, пришедших в мою детскую голову, было соображение, что до меня не было ничего.

Жизнь людей портит. Начинающий человек чист и предрасположен к добру, как яблоня к плодоношению, однако с годами он становится всё несовершенней и несовершенней по мере того, как приобщается к манерам больших людей. В этой деградации от ангела до пожирателя котлет заключается непостижимое противоречие, а именно: младенец становится человеком исключительно через общение с себе подобными (что, в частности, доказывает история действительного, не киплингского Маугли), но через общение же с себе подобными он постепенно растлевается до пожирателя котлет, равноспособного на неблагоприятные поступки и вполне праведные дела.

Ребенку до этого дуализма сравнительно далеко. В первом детстве добро как некая всеобщность, вытекающая из наставлений, родительской ласки, красоты явлений и предметов, мудрости и безупречной порядочности старших, любви к животным, за исключением мышей, и строгого запрета присваивать чужие игрушки, – это добро представляется нерушимой нормой, а всякое отступление от него – знаком постыдного заболевания, каким в мое время считался, к примеру, педикулёз. Во всяком случае, я, помнится, так ужасался матерной брани, как впоследствии не ужасался даже зрелищу мертвых тел. Отсюда такое заключение: детство как ангельская форма существования прекращается в ту самую минуту, когда является первая нечистая мысль, первое грешное побуждение, первый невозвышенный интерес. Конечно, и в зрелые годы нас обременяет прирожденное тяготение к добру, но человек, утративший ангельский чин вследствие неразрешимого противоречия между проклятой свобо-

дой и необходимостью, так до скончания дней и остается странным, неуравновешенным созданием, способным на неблагоприятные поступки и праведные дела.

Разве что в человеке никогда не остывает детская страсть к игре, но поскольку ребенок честнее, прямолинейнее взрослого, ему и в голову не приходит выдавать свои ребячества за важные занятия, потворствующие дальнейшему развитию цивилизации, хотя ему еще невдомек, что между игрой в биржу и игрой на бирже, игрой в театр и игрой в театре разницы, в сущности, никакой. При том что важных занятий у взрослого человека сравнительно немного (к таковым относятся продовольствование, отопление, освещение и просвещение страны), он до седых волос весь охвачен игровой стихией и даже исхитряется превратить в забаву такое серьезное дело, как земледелие, обставляя его то соитием на пашне, то как битву за урожай.

В нашем детстве игры были приличные и неприличные. К приличным причислялись, например, лапта, «штандер», отчасти «дочки-матери», классы, ножички, «казаки-разбойники», вышибалы, в войну, индейцев и городки. Сейчас эти игры так прочно позабыты, за редким исключением, настолько они не укладываются в нынешнее сознание, что объяснять их бессмысленно, равно как и пафос музыкальных утренников, которые, бывало, устраивались по воскресеньям в советские времена. Однако самым интересным занятием из приличных было для меня чтение детских книг. Теперь вспоминается, что ими я заинтересовался как раз задолго до того, как выучился читать. Лет, наверное, пяти я записался в детскую библиотеку на нашей улице, взял здоровенный том «Истории Москвы» с картинками и так ею увлекся, что даже не всякий день выходил гулять. Меня и картинки восхищали, и какой-то особый запах, идущий от корешка, но больше всего меня занимало то, что вот мелкие черные буковки, похожие на паучков, складываются в разные слова, слова – в предложения, предложения – в абзацы, а абзацы – в разоблачение какой-то огромной тайны, от которой зависит благополучие всех людей. Словом, я относился к книге, как первые книгочеи, видевшие в ней некое волшебство, но читал почему-то в большинстве случаев за едой, – оттого обед у меня, как у французов, занимал часа два, и если под рукой не случалось книги, то кусок, что называется, не лез в рот; напротив, когда я читал лежа на диване или за партой, на меня нападал аппетит и то и дело наворачивалась слюна. С тех пор чтение составляет главное увлечение моей жизни (как, видимо, и у всякого культурного русского человека), и хотя тайн не осталось, можно сказать, никаких, привычка сильна настолько, что иной раз я тоскую по доброй книге, как в разлуке тоскуют по женам, еще не успевшим порядочно надоесть. Вообще главной трагедией преклонного возраста оказалась та, что к пятидесяти годам человеку уже нечего почитать.

Отдельную статью в наше время составляли, так сказать, камерные игры, положим, пластилиновые войны, к которым готовились загодя, часами вылепливая разноцветных солдатиков всех родов оружия и нудно договариваясь о правилах ведения боевых действий вплоть до скорости передвижения легкой кавалерии по пересеченной местности, для чего привлекалась ученическая линейка и спортивный секундомер. Сюда же относилась ловля майских жуков, жуков-дровосеков и навозников, которых мы запрягали в миниатюрные тележки, сделанные из спичечных коробков, и долго мучили, покуда несчастные насекомые худо-бедно не приучались к должности лошадей.

Собственно неприличная игра, если не считать *пристенка*, была только одна: мы имитировали соитие с девочками или мальчиками, это смотря по тому, кто оказывался под рукой и соглашался с тобою пасть; с мальчиками было легче договориться, но с девочками блудить было куда интересней, особенно с латышкой Алисой, которая была странно похотлива для своего нежного возраста, – интересно, что-то она сейчас... Замечательно, что эти имитации мы находили занятием не просто неприличным, даже не постыдным, а прямым извращением человеческого естества, вроде склонности к воровству; мы много раз зарекались, казнили

себя за слабость, но снова и снова впадали в грех. Правда, кто-нибудь из товарищей время от времени сообщал, будто бы взрослые только и делают, что блудят, и будто бы дети именно от этого и рождаются, однако мы отказывались верить сей гнусной напраслине. Даже мой первый друг Артур Капанадзе рассказывал мне под большим секретом, что его отец почти каждую ночь делает матери больно, – видимо, выворачивает ей руки, – поскольку ночами она постанывает и сопит. После я видел, как занимаются продолжением рода собаки, как шпана насиловала смертельно пьяную нашу молочницу Татьяну, и мое воззрение на человека было уже не то.

Только на склоне лет я пришел к тому, от чего ушел: половое действо представляет собой низменное отправление организма, входящее в жестокое противоречие с культурной доминантой человека, которую он унаследовал от Высшего Существа. Недаром же ребенок, то есть создание, на живую нитку связанное с Божеством, противится половому инстинкту и его ужасает мысль, что такая грубая непристойность, как соитие, есть единственное средство продолжения рода человеческого и физиологическая норма, а между тем ему очевидно – заниматься любовью, в сущности, так же неприлично, как ковырять в носу.

Другое дело, что в зрелые годы человек перестает стесняться своего животного начала, сквернословия, предательства, примитивных страстей и прочих низостей, из чего я делаю следующее заключение: люди бывают людьми по преимуществу в детстве и старости, а странство времени между ними, то есть собственно жизнь, – это более или менее несчастье, репродуктивный период, связанный со многими бессмысленными мучениями, которые написаны на роду. Таким образом, библейская притча о блудном сыне, как никакое другое сказание человечества, вполне воспроизводит закон судьбы.

Вдруг ни с того ни с сего вспомнилось: сидим мы с моим первым другом Артуром Капанадзе на скамейке возле парадного, наблюдаем за передвижением лиловых облаков, за чьей-то кошкой, артистично пробирающейся по остриям штакетин нашего забора, за старьевщиком, который выменивает всякий хлам на оловянные револьверы, стреляющие пробкой, и полумячики на резинке по названью «уда-уди», и тут я говорю:

– Внутренний голос мне подсказывает, что я буду великим человеком.

– Никакой это не внутренний голос, – возражает мне Артур, – просто у тебя в животе урчит.

В самом деле: внутренний голос науськивает человека, что он-де единственное дыхание на земле, ощущающее себя единичным, начало и конец в одном лице, центр мироздания, а в действительности это у него в животе урчит. И, может быть, культурная доминанта, довлеющая, в сущности, лишь несколькими тысячам психопатов разных национальностей, только и есть что извращение в природе, врожденный недуг, как у муравьев-кочевников – слепота. Во всяком случае, у людей слишком многое зависит от убеждения; для кого Эйфелева башня – Эйфелева башня, а для кого – громадная металлическая прищепка, поставленная на попа.

Скорее всего, истина поверится смертью: мы точно дети Божьи, если окажется, что смерть сродни милости, что умирать – это так же просто, обыкновенно, как прямохождение, и ты напоследок подумаешь сквозь отходную дрему: «Только-то и всего?..»

ОТРОЧЕСТВО

Отрочество мое вот с чего началось: я произнес первые в жизни матерные слова. Я потому трактую это происшествие как рубеж, что я произнес матерные слова и вдруг почувствовал с болезненной остротой – что-то началось гадкое, но настоящее, а что-то хорошее, но фальшивое кончилось, словно оборвалось.

В те времена к словам вообще относились серьезно, даже и чересчур. Правда, уже давно не сажали за «политическую ошибку», которая сама по себе могла заключаться в сочетании двусмысленного существительного с сомнительным прилагательным, однако же нужно было готовиться если не к дуэли, то к сложным разбирательствам, когда бы вы сказали кому-нибудь «подлеца». Во всяком случае, так называемую площадную брань у нас считали привилегией отбросов общества, и, помню, я раз в нежном возрасте до смерти напугался, когда, оказавшись в компании солидных, положительных мужчин, услышал от них эти самые матерные слова. Не то чтобы мир в моих глазах перевернулся, но, полагаю, я был бы меньше ошеломлен, если бы мой кот Сашка внезапно заговорил.

Мое падение совершилось следующим образом: мы шалили на стройке напротив женской консультации, потом играли в «очко» в беседке через дорогу, я проиграл семь рублей пятьдесят копеек (дело было до реформы 1961 года), и мой товарищ Иосиф Бычков, названный в честь генералиссимуса Сталина, предложил: – Если скажешь ..., то я прощаю тебе должок. Я помучился и сказал. Сказал и подумал: «Вот я считал себя хорошим мальчиком, вроде “Васька Трубачова и его товарищей”»,¹ но мало того что я играю в постыдные карточные игры, да еще на деньги, да к тому же проигрываю, тогда как у меня сроду не водилось больше тридцати копеек на трамвай, – я еще и матерюсь по малодушию, как босяк какой-нибудь, и, следовательно, я трижды мерзавец и четырежды негодяй!» Произнес же я основополагающее российское ругательство, которое, кажется, Борис Зайцев художественно преобразил в «напраслину про его мать», но упрекал я себя не столько за матерщину, сколько за то, что на поверку красная цена моей невинности была семь рублей пятьдесят копеек, не считая бесчестия и стыда. Любопытно, что из отрочества в зрелые годы не так помнятся мгновения блаженства, как мгновения бесчестия и стыда.

Объяснение этому феномену может быть таково: маленький человек, расставаясь с детством, еще машинально сосредоточен на лучших, возвышенных побуждениях, и всякое вольное или невольное отступление от них, равнозначное нарушению закона природы, производит в нем такое потрясение, что запоминается прочно и навсегда. Стало быть, опять же приходим к заключению, что жизнь людей портит, поскольку человек начинается именно как высшее существо.

Накануне моей отроческой поры пошли серьезные перемены: умер от менингита мой старший брат, отец оставил семью и, по слухам, сошелся с племянницей Маленкова, одно время возглавлявшего наше несчастное государство, мы с матерью, кругом осиротевшие, переехали из нашего допотопного домика в Черкизове на новую квартиру по Борисовской улице, в кирпичный дом, затерявшийся среди новостроек между Измайловским парком и Семеновской площадью, тогда казавшейся мне безлюдной и пространственной, как пустырь.

Мы долго не могли нарадоваться на наше новое жилище и считали себя окончательно присоединившимися к материальной культуре Европы, поскольку дом-то был каменный, а не деревянный, да еще пятиэтажный, как на Арбате или даже в Потсдаме, где стоял отец со своим полком, и хотя в нашей квартире жили еще две семьи, но были, что называется, все удобства: газ, водопровод, ванная комната, туалет. Всё это было для меня так ново, необыкновенно, сообщительно с последними достижениями цивилизации, что я подолгу просиживал в теплом ватерклозете, провоцируя праведный гнев соседей, по три раза на дню принимал ванну и недели две не ходил гулять.

А посмотреть было на что. Мое новое жизненное пространство со стороны запада ограничивалось речкой Хапиловкой, замусоренной и зловонной, за которой темнело старинное Преображенское кладбище, а по нашему берегу всё стояли красивые и ткацкие фабрики

¹ Чрезвычайно популярный в середине прошлого века роман В. Осеевой, в котором действовала коммунистически настроенная детвора.

еще купеческой постройки и той веселой архитектуры, которую презирали большевики. С юга границей моей Москвы служила уже упомянутая Семеновская площадь с кинотеатром «Родина» во главе, а за нею простиралась пугательно далекая Ухтомка, Немецкое кладбище, смешной Госпитальный вал. С севера и востока меня окружали: недостроенный стадион гигантских размеров, производивший какое-то марсианское впечатление, руины загородного дворца царя Алексея Михайловича Тишайшего, измайловские Парковые, бандитские улицы, которые шли до самого пригородного совхоза «Памяти Ильича». Таким образом, я опять угодил на окраину, можно сказать, в предместье, однако же более напоенное городским духом, нежели родное Черкизово, поскольку по нашей улице ходил троллейбус, через две улицы курсировало три номера трамваев, по соседству был крытый бассейн, куда таскалась заниматься плаванием чуть ли не вся окрестная молодежь, два настоящих магазина – продовольственный и галантерейный, и стоматологическая клиника в двухэтажном симпатичном особняке.

Дом, в который мы с матерью переехали, стоял на углу улиц Борисовской и Ткацкой, но, что называется, на задах. Его со всех сторон окружали: очень приличный каменный дом с завитушками, принадлежавший министерству геологии, два пятиэтажных дома новейшей постройки, картонажная фабрика, где делали коробки для обуви и футляры под градусники, фабрика целлулоидных игрушек, горевшая много раз. Немало было в округе и деревянных строений самого захолустного образца, но после они как-то незаметно исчезали, на их месте поднимались невзрачные жилые дома с магазинами в первых этажах, и, стало быть, окраинный московский люд фактически ввалился в XX век. Правда, по дворам еще пили чай из самоваров, были в ходу междометия «ба!» и «ась?», а слово «интеллигент» считалось скорее ругательным, из окон гроздьями висели авоськи со скоропортящимися продуктами питания, и нужно было записываться в очередь за электрическим утюгом.

А в конце 50-х годов самым видным зданием в округе была моя новая школа с широким парадным подъездом, большими окнами и стенами какого-то особенного, багрово-красного кирпича. В новой школе меня поначалу приняли почти враждебно, как и всякого новичка. Со временем дело пошло на лад, с большинством одноклассников я свел приятельские отношения, однако настоящим другом обзавелся только несколько лет спустя.

Занятно, что в прежней, черкизовской школе я был «хорошистом», то есть учился исключительно на «четверки» и «пятерки» и в конце каждого учебного года получал какую-нибудь детскую книжку в награду «за прилежание и примерное поведение», а в новой школе перебивался с «двойки» на «тройку», и по итогам каждого учебного года мне грозили исключение и позор. Кое-как успевал я только по истории, географии и литературе, математику же и вообще все точные науки ненавидел так последовательно, что, кажется, по самый 11 класс не сделал по этим дисциплинам ни одного домашнего задания, и удивляюсь, за какие такие добродетели мне в конце концов выдали аттестат.

Теперь иногда думаю: до чего же я был в отрочестве бездельник и обормот! Ведь какое это, в самом деле, захватывающе увлекательное занятие – учиться, особенно в те годы, когда тебя не обременяют никакие прочие обязанности: ни долги, ни хронический бронхит, ни безденежье, ни семья... Тем более в эти годы человеческая голова устроена таким образом, что она способна аккумулировать несметный объем знаний, даже таинственно несметный, даже как бы противоестественный, отнюдь не соответствующий объему собственно головы. Ну не чудо ли это, из разряда настоящих, прямых чудес: подросток еще не до конца уверен, что игры со спичками ведут к беде, но он уже в совершенстве владеет бесконечно сложным русским языком, а если у него бабка говорит на жаргоне, мать – полька, а дед по матери – осетин, то он еще свободно говорит на идиш, по-польски, по-осетински и на крымско-татарском, если за перегородкой живет татарин из крымчаков.

Вот кабы можно было вернуть мои отроческие годы, с каким удовольствием я занялся бы португальским, чтобы прочитать в подлиннике подозрительного Камозенса, неорганической химией, космогонией, палеоботаникой, античной эпиграфикой, даже обыкновенной геометрией, к которой подростком я питал резкую неприязнь. Точно права была наша учительница математики Лариса Дмитриевна, говорившая мне во время оно:

– Мальчик ты положительный, но дурак.

Именно что дурак, поскольку в отрочестве я делал всё что угодно, только не учился и вообще школу замечательно не любил. Собственно, замечательное в этой антипатии было то, что, с одной стороны, я питал дружеское чувство ко всем моим одноклассникам, за исключением придурка, как-то легонько пырнувшего меня ножом, Кольки Малюгина по прозвищу Душегуб; я и учителей наших, мучеников, любил, хотя среди них попадались, как я теперь понимаю, люди малограмотные и не совсем в себе; я обожал нашего классного руководителя Юрия Григорьевича, который по понедельникам являлся к нам с замазанными синяками, пил воду графинами и, чтобы не омрачать начало недели, никого не вызывал к доске, а весь урок рассказывал о приключениях знаменитых капитанов, почему-то поголовно кончавших свои дни на маловероятных Кокосовых островах. Но стоило мне прикинуть с утра пораньше, что, положим, на первом уроке мне нужно будет представить перевод на английский сценки «На приеме у врача», после изнывать от скуки в связи с анализом образа Чацкого как потенциального декабриста (это только много лет спустя мне открылось, что декабристом в «Горе от ума» выступает как раз дурак Репетилов, а Чацкий скорее консерватор-позитивист), на третьем уроке бессмысленно потеть над графиком тригонометрической функции, на четвертом сорок пять минут считать мух, поскольку и я сейчас не понимаю, что такое электричество, на пятом с омерзением разбирать пищеварительную систему у жвачных животных, – как меня начинала трясти лихорадка и хотелось немедленно умереть. Единственно по вторникам и четвергам, когда у нас было рисование, я не с таким отвращением думал о грядущем учебном дне, так как на рисовании мы имели моду смешно издеваться над учителем Семеном Моисеевичем, подслеповатым стариком, который как раз и был не совсем в себе. Как именно это делалось, сейчас вспоминать тошно, и о номенклатуре наших подлых шалостей я с прискорбием умолчу.

Стало быть, в отроческие годы, нарочно приспособленные для учения, я делал всё что угодно, только не учился, но что именно я тогда делал, хоть убей, не упомяну, – кажется, ничего. Вероятно, по преимуществу я скучал; я так часто, подолгу и сосредоточенно скучал, как не скучал на протяжении всей взрослой жизни, и, в сущности, генезис этого состояния для меня остается загадочным до сих пор. Поскольку из-за непричастности к учебному процессу времени у меня оставалось предостаточно, я мог часами складывать из спичек географические карты, играл сам с собой в «пьяницу»,² от корки до корки изучал отрывные календари, просто лежал на диване, задрал ноги, и мечтал о том, как со временем стану знаменитым полярным исследователем и меня полюбит за это первая красавица нашей параллели Танечка Королева, или как на школьном вечере под Октябрьские праздники Танечка Королева пригласит меня на «белый танец» и наши парни будут пялиться на нас с завистью и тоской.

Итак, основным занятием моего отрочества была скука. Это неудивительно, потому что вообще подросток как бы подвешен во времени, и даже физиологически он ни богу свечка ни черту кочерга. Следовательно, дурацкое времяпрепровождение для него так же нормально, как для зрелого мужчины нормальна бурная деятельность и как печальные размышления о прожитом нормальны для старика. И, может быть, тут даже сказывается Высшее Попечение, что человек в отрочестве по преимуществу скучает, поскольку еще суще-

² Прimitивная, в сущности, детская карточная игра.

ствуют такие соблазны, как бродяжничество, драки стенка на стенку, отвар из конопли и мелкое воровство.

Впрочем, кое-какие занятия у меня были. Например, одно время я собирал почтовые марки, каковое чудачество в те годы было очень распространено. По традиции школьников всех времен я сэкономил деньги на завтраках (на 15 копеек в школьном буфете покупались два пирожка с повидлом, карамелька и стакан чая) и по воскресеньям навещал ближайший книжный магазин, возле которого шла незаконная торговля почтовыми марками, спичечными этикетками, старинными монетами, значками, открытками, – словом тем, что в наши романтические годы коллекционировали московские чудаки. Собрание мое было незначительным, но однако же в нем имелись такие раритеты, как суверенная Тува, Испанская Сахара и одна крошечная марка с портретиком Ленина, выпущенная малым тиражом в двадцать шестом году. Возиться с марками было чистое удовольствие; бывало, подцепишь пинцетом какую-нибудь Экваториальную Африку, осмотришь внимательно через лупу, прослеживая мельчайшие детали изображения, проверишь целостность зубчиков по краям и понюхаешь: пахнет какой-то дрянью, а кажется, что затхлой тропической стариной, как от дедовского сундучка, в котором когда-то держали китайский чай.

К чтению я в отрочестве поостыл. То я почему-то бесконечно перечитывал «Остров сокровищ», то вообще ничего не читал и прямо-таки возненавидел классическую русскую литературу за анализ образа Чацкого как потенциального декабриста, нелепые стихи Кольцова, большевизм Добролюбова и объем романа «Война и мир». Если меня, бывало, и заденет письмо Татьяны Лариной к Евгению Онегину, так только потому, что при этом в моих глазах вставала Танечка Королева, которая, впрочем, всегда стояла в моих глазах.

В первые отроческие годы во мне вдруг проснулся интерес к одежде, которого я знать не знал до этого и потом. В детстве мне было решительно все равно, какого покроя на мне штаны, но когда шестиклассником я влюбился в Танечку Королеву, как-то за обедом я сказал матери: делай что хочешь, но добудь мне соответствующие штаны. В те годы мы жили бедно, как и все граждане нашего несчастного государства, и справить новый костюм (тогда еще говорили «построить») – это было целой вехой в биографии человека, как выйти на пенсию или как в армии отслужить. Некоторое время мой ультиматум оставался без последствий, но вскоре я так надоел матери, что она перешла в модные брюки мои полубайковые шаровары, которые тогда носили лыжники, конькобежцы и вообще спортивная молодежь. В результате вышли приличные «дудочки» со швом впереди вместо положенной «стрелки» и небольшими разрезами по бокам. Я влез в обнову, вышел из дома и часа два таскался под окнами моей возлюбленной, надеясь, что она выглянет, увидит меня во всей красе, отдаст должное моей элегантности, проникнется всей громадностью свершившейся перемены, – одним словом, не устоит. Но занавески только однажды зашевелились, и то, полагаю, из-за дуновения сквозняка.

Настоящих модников тогда еще не было, то есть, может быть, они и водились по ту сторону Садового Кольца, и даже наверняка водились, но окраинное юношество только-только рассталось с отцовскими бушлатами да гимнастерками, и самое большее если вдруг все влезали в куртки «бобочки», красные носки, крашенные черные рубашки и дерзко задирали воротники. Позже самые отважные стали носить «кок» вроде грибоедовского, пришедший на смену «политическому зачесу», появились остроносые туфли ценою в девять рублей ровно, за которыми нужно было «охотиться», вошли в моду светлые кепки «в рубчик», и все как один обзавелись невероятно узкими штанами, за исключением, разумеется, комсомольских вожakov, из чувства самосохранения таскавших широченные бесформенные брюки и куцые пиджаки.

За таковскую виртуальную связь с Западом уже не сажали, хотя это и была настоящая фронда унылым правилам социалистического общежития: мы демонстрировали как бы

общенациональное тяготение к европеизму – комсомольские вожаки до самозабвения связывали всяческое неизящество, даже неопрятность, с символом веры своих отцов; мы разжигались в нотном магазине на улице Кирова рентгеновскими снимками, на которых записывали англо-саксонскую музыку, – они стойко исповедывали патриотическую песню и родительский вальс-бостон; мы зачитывались Хемингуэем – они цитировали присказки из романа «Как закалялась сталь».

Занятно, что впоследствии из комсомольских вожаков вышли многие заводчики, банкиры и видные деятели демократического крыла. Это тем более по-русски, то есть иррационально, что в годы моего отрочества комсомольские вожаки легко могли инспирировать большие неприятности за непоказанные музыкальные пристрастия, падкость на моду и несдержанность на слова. Помню, как-то на уроке литературы, когда речь зашла об историческом противостоянии передового Востока и деградирующего Запада (тогда все дисциплины кое-как сводились к противостоянию Востока и Запада), я сделал первое и последнее в своей жизни антисоветское заявление, поскольку как раз в это время мечтал об остроносых туфлях за девять рублей и был легковоспламеняемым на слова:

– Вместо того чтобы наращивать вооружения, – сказал я, – лучше бы наши выпускали побольше обуви для ребятни!

– Ага! – с затаенной угрозой в голосе сказал комсорг нашего класса Самохвалов. – Значит, ты призываешь противостоять американской военщине при помощи обуви для ребятни?! Вообще-то за такую платформу можно запросто вылететь из школы... Если, конечно, нас поддержит педагогический коллектив.

Я тогда прикусил язык и подумал: как бы из меня, действительно, не вышел антисоветчик, то есть трижды мерзавец и четырежды негодяй.

Теперь интересно, отчего это обстоятельства нашего прошлого представляются со временем на удивление неизящными и до странного наивными по сравнению с обстоятельствами настоящего, будь то система убеждений или форма автомобильного кузова, и неужели комод нелепее сканера, а идея всеобщего равенства глупее распределения по труду? В конце концов, наши деды, носившие крахмальные манишки и целлулоидные воротнички, прочно стояли на том, что вот как снову берегут рубашку, так смолodu берегут честь. Наши отцы, ездившие на немецких драндулетах и, выпивши, немедленно затягивавшие «Бродягу», во всех случаях жизни предпочитали участь жертвы должности палача. С другой стороны, что может быть изящнее венской коляски, бального декольтированного платья и оборота «господа офицеры благоволят...»? С третьей стороны, давно известно, что ничего нет нового под солнцем, что было, то и будет, и ничему небывалому не бывать. С четвертой (и последней) стороны, ясно, что через пятьдесят лет смешными покажутся свичаи и обычаи наших денежных тузов, наши сканеры, пиджачки о трех пуговицах, бритые головы и зулусские наклонности большинства.

Видимо, каждое новое поколение, в силу какого-то парафизического закона отталкивания от прошлого, неизбежно начинает с отрицания старины, как мы начинали с отрицания отцовских галифе, наши дети – коммунистической идеи, внуки – культуры как атавистического признака человечности, и как наши правнуки скорее всего оттолкнутся от традиции родителей и вернутся к тому романтическому императиву, что в человеке всё должно быть прекрасно: и «прикид», и мысли, и физиономия, и душа. Но тогда к чему эти тревобления, этот заковыристо-сложный путь?

Нет, неполон был Достоевский, написавший, что «человек есть существо двуногое и неблагодарное», нужно было написать – двуногое, неблагодарное и дурак.

Первый раз я выпил в тринадцать лет. Кто-то из нашей дворовой компании разжился поллитровой бутылкой водки, мы заняли позицию в беседке напротив строительной площадки и напились. Чувство опьянения показалось мне настолько отвратительным, что я

потом долго не брал в рот хмельного и удивлялся на пьяниц, которые в годы моего отрочества вечно дрались возле пивного ларька на Окружном проезде и валялись где ни попадая, включая такие неподходящие места, как, например, детская площадка и тротуар. Первого и пятнадцатого числа каждого месяца о них буквально спотыкались, а бедные жены металась по городу и сторожили у проходных. Именно в эту пору я вывел для себя, что отнюдь не все взрослые – хорошие люди, и тогда-то началось мое познание мира, который прежде воспринимался как вещь в себе.

Прежде, то есть в детские годы, настоящего интереса к познанию окружающего у меня не было и, несмотря на обыкновенное для малышей почемучество, я несравненно больше интересовался миром в себе, нежели миром вокруг себя, и мое «почему» существовало как бы отдельно от «потому». Тот сонм вещей и обстоятельств, среди которых я оказался, можно сказать, внезапно, мне представлялся в принципе непонятным, чуждым, а потому не стоящим моих умственных усилий, и я удовлетворялся такой простой наукой, как завязывание шнурков. Но позднее во мне вдруг обозначился острый интерес к миру, как бывает вдруг обозначается интерес к женщине, или к звездам на небе, или принципу колеса. Нужно было выяснить и по возможности срочно: откуда берутся дети? так ли уж нужно, чтобы взрослые каждый день ходили на работу, а дети – в школу, за исключением тех особо морозных дней, тогда температура воздуха опускается ниже 25°C? почему люди бывают добрые и злые? если социализм – передовой общественный строй, то отчего наши соседи изо дня в день едят пустые щи и селедку с луком? выгодно ли учиться на круглые «пятерки», ибо отличников никто не любит, а троечников, как правило, любят все? откуда берется музыка? точно ли, что присваивать чужие вещи – нехорошо? как только люди живут в этой страшной Америке, где свирепствует эксплуатация труда капиталом и прогрессивно настроенных деятелей убивают из-за угла? коли бога нет, то почему существуют церкви, богомолки, нищие на церковных папертях и попы? бывает ли любовь с первого взгляда? по какому такому щучьему веленью аккуратно ходят трамваи, а из кранов течет вода? что такое «честь мундира»? как бы разбогатеть?

Из этого синодика видно, что я был заметно старше своих вопросов как общественная единица и физическое существо, и сие несоответствие наводит вот на какую мысль: подросток есть прежде всего задержка в умственном развитии человека, которую затруднительно объяснить. В отрочестве мы надолго как бы останавливаемся в оупении раздумья: куда идти? Росту прибавляется, мышцы крепнут, голова становится всё пропорциональней объему тела, но в интеллектуальном отношении человек еще дитя, хотя он давно и решительно не дитя. Ангельского в нем ничего не осталось, за исключением непосредственности и плаксивости, но откуда-то взялась непонятная жестокость, и даже не жестокость, а такая тягостная пустота, отсутствие чего-то, что обыкновенно руководит человеком, склонным к добру и творящим зло. Поэтому подросток равно способен на благородный поступок и чудовищное преступление в зависимости от того, какой стих на него нашел. Как-то раз я с риском для жизни перехватил санки с малышом, неотвратимо катившиеся под колеса грузовика, но однажды ударил по лицу девочку за какие-то ядовитые слова и застрелил играючи из винтовки «маузер» восемь штук воробьев, тогда как в зрелые годы я стал такой благодный, что на меня бабочки садятся, и без тяжелого чувства вины не прихлопну и комара.

Словом, как минимум пять лет жизни начинающий человек стоит, словно на перепутье, не зная, куда идти. Трудно угадать, какая сила, вирус или даже неосновательное впечатление наставляют его на путь, будь то скитание по тюрьмам либо дипломатическая карьера. Однако же очевидно, что одно-единственное дуновение отделяет подростка от матерого уголовника, которому всё равно – что на воле безобразничать, что в тюрьме сидеть, и от великого пианиста, который на весь мир прославит Чебоксары своим туше. Из моих одноклассников (все они как один были самого демократического происхождения) пятеро еще школьниками сели

за групповое изнасилование и убийство, одного зарезали его дружки-урки, с десятков моих однокашников стали инженерами и научными работниками, двое достигли немалых административных высот – об остальных мне неведомо ничего.

Непонятно только, зачем Проведение так жестоко оставляет подростка один на один со случаем, как бесшабашные отцы учат сыновей плавать: завезут на середину реки, сбросят с лодки в воду, и хочешь – плыви, хочешь – иди ко дну.³

Меня случай миловал: я неоднократно бывал в воровских компаниях, но при мне наши урки так и не собрались идти грабить склад целлулоидных игрушек или галантерейный магазин – а то, если позвали бы, я, пожалуй, не устоял; при мне наши огольцы не раз раздевали шалых девчонок, но так, шулки ради, и дальше этого у них дело не заходило – а то, пожалуй, и я соблазнился бы, если бы девчонку поставили на поток; я неоднократно выходил из дома с кастетом в кармане и с ножом за пазухой, но мне ни разу не случилось это вооружение применить. Теперь пот прошибает, как подумаешь, что в отрочестве одна горошина отделяла меня от гибели и что на одну горошину порок отстоит от добродетели, свет – от тьмы, разум – от безумья и, в конечном итоге, человек по существу – от человека не полностью, не совсем. Страшная это пора жизни, отрочество, и, по-настоящему, медицинская наука должна была бы выдумать какой-нибудь препарат, который давали бы подростку перед едой, как рыбий жир в наше время, чтобы первую половину дня он в охотку учился, а другую половину спал беспробудным сном.

В 1961 году случилась очередная денежная реформа, и я отчетливо помню, как мы бегали в галантерейный магазин выменивать новенькие монеты, еще маслянистые на ощупь, и невиданные миниатюрные купюры (прежние были размером с наволочку), лоснящиеся, точно пергаментные, которые пахли загадочно и тепло. Помнится, нас очень веселило то обстоятельство, что по причине десятикратного повышения курса рубля всё вокруг страшно подешевело: позвонить из телефона-автомата стоило уже две копейки вместо пятнадцати, десяток микояновских котлет – рубль двадцать вместо двенадцати рублей, проезд в трамвае – три копейки, бублик – шесть, маленькая пачка сигарет «Дукат» кирпичного цвета – семь. Наши восторги, разумеется, немедленно рассеялись бы, если бы мы сразу почувствовали на себе, что заработная плата наших родителей обратным порядком сократилась десятикратно, но мы это почувствовали на себе не сразу.

Примерно в то же самое время как-то сама собой исчезла бедность, которая прежде была основным признаком нашей жизни, с ее вечной нехваткой денег до получки, когда сахар прятали, одно пальто носили полжизни, наручные часы считались роскошью, а любительская колбаса – деликатесом, когда пределом мечтаний всякого подростка был килограмм тянучек и самокат. Это случилось почти внезапно, как если бы наша окраинная беднота вдруг вымерла в результате какой-нибудь пандемии, или ее поголовно сослали на Колыму. Куда-то подевались бесчисленные калеки, дожидавшиеся подавания у ворот Преображенского рынка, разного рода побирушки, ходившие по домам, сидоры из мешковины и плетеные чемоданы, ватники, галоши, которые носили все, чтобы обувь служила дольше, прибитые солдатские ушанки и прохаря⁴. Ни с того ни с сего народ стал одеваться, во всяком случае, прилично, прорезалась мода, появились первые заграничные товары, по преимуществу польская обувь и китайские плащи, а на женщин в резиновых ботиках и папах из смушки уже смотрели как на тургеневских героинь.

Вообще на моем веку случились многие вещественные перемены, например, в начале 60-х годов исчезали вещи моего детства, о которых вряд ли слышана современная моло-

³ Не исключено, что у нас сложилось неверное представление о Подателе жизни и Высшей силе. Может быть, в действительности наш Хозяин, как и всякий хороший хозяин, и милостив и взыскателен, и освободителен и суровый наставник, и благодетель и жесток.

⁴ Хромовые сапоги с отвернутыми голенищами, которые носили окраинные щеголи и шпана.

дежь. Я еще застал следующие реликты: чугунные утюги, которые нагревались углями из печки, вальки, которыми отбивали белье при стирке и, в сущности, использовали вместо мыла, настенные коврики, на которых изображался Иван-царевич на сером волке, и лебедей, рисованных на клеенке, дамские муфты, лампы-молнии, полуторки и пикапы, представлявшие собой забавный симбиоз легкового автомобиля с грузовиком, этажерки, кальсоны, чернильные приборы и перьевые ручки, двухцветные окна, вышивки крестом и гладью в застекленных рамках, настоящую ливерную колбасу, унты и бурки из белого войлока с кожаной отделкой, чистописание, мраморную бумагу, колотый сахар и специальные щипчики, чтобы его колоть, слово «общественник», бисерные безделушки, люстры со стеклярусом и шелковые абажуры, оловянные пугачи, стрелявшие пробкой на веревочке, керосинки и примуса, которые, впрочем, еще долго были в обиходе по маленьким городам.

Из вещей же моего отрочества, пожалуй, исчезли только албанские сигареты и школьная форма на манер гимназической: для мальчиков – гимнастерки, кителя и фуражки голубовато-мышинного цвета, для девочек – коричневые платья и черные фартуки, в которых они были обворожительно хороши.

Диву даешься, как неузнаваемо изменился материальный мир при жизни, в сущности, одного поколения, точно сменилась целая геологическая эпоха, между тем нынешние подростки, вероятно, не хуже и не лучше нас, а всё среди них бытуют в извечной пропорции бессребреники, убийцы, книгочеи и уркота. Следовательно, отнюдь не приходится горько жалеть о том, что нельзя хоть одним глазком посмотреть, что будет с наукой через триста лет, как того желалось чеховскому профессору Николаю Степановичу, потому что с наукой всё будет хорошо, а с человеком плохо или, по крайней мере, так себе, ни шатко ни валко, как было и сто, и тысячу лет назад. Так что, выходит, не о чем горевать.

С другой стороны, эта обескураживающая константа кого хочешь выведет из себя. То есть любому мыслящему и просто здравомыслящему человеку мучительно трудно смириться с тем, что вещи из века в век становятся совершенней (хотя что может быть изящнее венской коляски), а история человечества в лучшем случае представляет собой процесс развития одного-единственного человеческого качества – стыдливости: триста лет тому назад не стеснялись прилюдно жечь ослушников на кострах и жгли, а теперь стесняются и не жгут. Они, может быть, охотно сожгли бы кого-нибудь и теперь, но как-то это прозвучало бы совсем уж несообразно после Пушкина и его многочисленных преемников по линии «трудов и чистых нег». Чего мы точно недооцениваем, так это влияния художественной культуры на психику обывателя, который в принципе может всё.

Не исключено, что процесс развития стыдливости на некоторых уровнях может идти и в обратном направлении, так, в наше время свободно показывают по телевизору любовные отправления человека, да еще в самые оживленные часы, а в годы моего отрочества мы постоянно стеснялись наблюдать, как вообще кто-то чем-нибудь занимается: как пишут письма, пьют чай и починяют бытовую технику, которая в России ломается как нигде. Мы стеснялись своей недалекости, сгоряча оброненного слова, идиотских поступков, невежества, кучек экскрементов в людных местах, бедняцкой одежды, даже невзрачного вида наших незатейливых городов.

Что до меня, то я больше всего стеснялся своей чрезвычайной похотливости, которая обуяла меня в раннем отрочестве, лет, наверное, в десять. Правда, у меня дело не заходило так далеко, как, например, у моего одноклассника Кольки Малюгина, который мастурбировал прямо во время уроков, сидя за одной партой с толстухой Соней Воронковой, и тем не менее стоило мне невзначай углядеть полоску тела между трусиками и чулком, что иногда случалось, когда мы с девчонками резвились на переменах, как сразу кровь ударяла в голову и находил полуобморок от чувства, которое очень трудно синтезировать, – что-то вроде смеси ярости, гриппозности и тоски. Не знаю, как теперешние, а наши девочки были

целомудрены, то есть они допускали кое-какие ручные вольности, но настоящее соитие было исключено, и я готов был удовлетворить свою похоть хоть с гладильной доской, если бы у нее нашелся соответствующий аппарат.

Поэтому мое теперешнее ощущение отрочества – это прежде всего ощущение нечистоты, постоянного присутствия задней мысли, как бы липкой на ощупь, которая охватывает тебя всего и не отпускает, чем бы ты при этом ни занимался, хоть ты решаешь задачки на встречное движение, хоть сочинишь стихи.

Следовательно, нет в человеческой жизни поры гаже и тяжелей, чем отрочество, даром что оно отнимает у нас ничтожно малый отрезок жизни, лет пять-семь, в зависимости от наследственности, характера и судьбы. У меня, во всяком случае, было так.

В сущности, отрочество – это изгнание из рая в протяженности, однако же с правом на помилование и протекающее как хроническая болезнь. Видимо, человеку необходимо преодолеть этот период времени, пройти через этот остракизм и разные мучительные испытания, через этот опыт свободы, чтобы в конце концов выработался человек положительно и вполне. Отсюда, в частности, вытекает, что свобода – это не право выбора между добром и злом, но возможность принять сторону добра вопреки всем выгодам и удобствам зла. Поелику человек есть не что иное, как чудотворный урод, который не понимает пользы от обмана и грабежа. Все прочее вполне вписывается в природу, то есть в упорядоченную уголовщину как положение, общее и для крокодила, и для наемного убийцы, и для сороки-воровки, и для деятеля демократического крыла.

Понятное дело, такие мысли не приходили мне на ум во времена моего отрочества (мне тогда собственно мысли вообще не приходили на ум), и единственной догадкой той поры, мало-мальски заслуживающей уважения, была догадка о пределе личного бытия. Почему это важно? Потому что если бессмертие – не химия, а продукт сознания, точнее сказать, природная способность незнания смерти, то по-своему бессмертны и, стало быть, бесконечно счастливы дети, собаки и деревенские дурачки; если же смертность – и химия, и продукт сознания, точнее сказать, природная или организованная способность постичь предел личного бытия, то человек бесконечно несчастен и неотступно мыслит, как и полагается высшему существу; то есть как только человек призадумался о смерти, так сразу в нем забрезжил человек положительно и вполне.

Особенно важно, чтобы это случилось вовремя, в отрочестве, когда подросток еще болеет изгнанием из рая и, как всякий тяжело больной, беспокоен, злораден, капризен, ожесточен.

Другое дело, что мыслящий человек всю оставшуюся жизнь проживает как ночь накануне казни и оттого, в сущности, только тем и занимается, что заговаривает, заговаривает, заговаривает смерть; он притворяется, будто сочиняет законы, строит здания, которые после простоят пятьсот лет, пишет книги, путешествует, делает деньги на разнице котировок, а на самом деле это он просто-напросто заговаривает смерть.

Весьма вероятно, что мы напрасно себя изводим, поскольку, может быть, смерть – это всего лишь ответ на вопрос: «Только-то и всего?..»

ЮНОСТЬ И ТАК ДАЛЕЕ

На веку, по крайней мере, двух последних поколений русского народа юность у людей длится столь несообразно долго, что это становится уже даже неприлично, – до самых седых волос. У него дети школу заканчивают, а он все еще юноша (ему и поступки довлеют 15-летние, и мысли, и система ценностей), в том смысле этого понятия, что юность есть прежде всего глупость особого рода, глупость как норма периода, как скоротечная форма существо-

вания и как стиль. То есть юноша, во-первых, кругом дурак и только потом он сама свежесть, романтик, влюбчив, правдоискатель и, как правило, патриот.

Мои же сверстники в юношеском возрасте особенно не задерживались: бывало, поваляют дурака года три-четыре, и они уже вполне взрослые люди, которых просто так не надудешь, которые знают, почем фунт изюма, и свободно отличают добро от зла.

Моя собственная юность началась как раз с правдоискательства и закончилась на первом курсе университета, когда я неожиданно женился и стало не до высоких истин, поскольку жизнь вошла в простую и жесткую колею. А именно: по утрам я ходил на лекции, в обед обедал на скорую руку (обыкновенно я съедал две порции винегрета по семь копеек и несколько ломтей ржаного хлеба, который тогда подавался в столовых бесплатно), потом шел на работу, возвращался домой в двенадцатом часу ночи, заваливался спать и спал, как все спят в юности, – мертвым сном.

Правдоискательство мое состояло в том, что я время от времени подвергал ревизии вечные ценности и своим умом доходил до ответов на следующие кардинальные вопросы: бытие ли определяет сознание, или сознание – бытие? точно ли, что коммунизм – неизбежное будущее человечества, или рынок возьмет свое, и наступит ли он к 1980 году, как обещано в III-й программе КПСС, или раньше, или позже, или, чего доброго, никогда? мужчина и женщина всемерно равны друг другу, или все-таки курица не птица, баба не человек?

На первый вопрос я сам себе отвечал уклончиво, поскольку, с одной стороны, я одобрял марксистскую резолюцию по основному вопросу философии, но, с другой стороны, меня смущало то обстоятельство, что, к примеру, из одних и тех же городских низов на проверку выходят лавочники, святые, воры и бунтари. На второй вопрос я отвечал уверенно: бога нет. Откуда же ему взяться, рассуждал я и сам удивлялся вескости своих доводов, если ничто так не напоминает международные отношения, как кровавые драки двух кланов цейлонских макак за фиговое дерево, если капитал правит большей частью мира, добывающего хлеб в поте лица своего, если на свете существует сколько угодно злых болванов, вроде моего одноклассника Кольки Малюгина, если свирепствует бесчисленное множество церквей, враждебных друг другу, и уж в высшей степени сомнительно, чтобы бог понимал молитвы по-готтентотски и на фарси. Занятно, что мне пришлось довольно долго пожить, еще лет двадцать, не меньше по крайней мере, чтобы в конце концов прийти к неизбежному согласию с Мальро: мировое зло – это не отрицание Бога, а мучительная загадка, которая, возможно, будет разгадана со временем, а возможно, не будет разгадана никогда. Впрочем, это и не так важно, потому что существует фундаментальное и неопровержимое доказательство бытия Божия: человек.

И на третий вопрос я отвечал уверенно: коммунизм – точно неизбежное будущее рода людского, хотя бы по той причине, что производительные силы неуклонно развиваются и через некоторое время продукцию просто некуда будет девать, цены последовательно поползут вниз, и тогда распределение по потребностям логически придет на смену распределению по труду. Тут-то пролетарии Запада, обзавидовавшись на наше благоденствие, и свергнут свои буржуазные правительства, и возьмут курс на высший гуманистический идеал. Мне тогда, по юношеской дурости, было еще невдомек, что загвоздка не в соотношении производительных сил и производственных отношений, а загвоздка-то в неистребимых человеческих несовершенствах, в самом хомо сапиенс, настолько этически неуравновешенном, всеспособном, что даже идею свободы, равенства и братства ему ничего не стоит свести к безобразной практике, особенно при опоре на гильотину и балаган. Пришлось довольно долго пожить, еще лет десять, по крайней мере, чтобы прийти к согласию с нашим Дмитрием Мережковским, вообще небольшим мыслителем, писавшим во время оно, что «социализм, капитализм, республика, монархия – только разные положения больного, который ворочается на постели, не находя покоя». Замечу, что я и поныне держусь того мнения, что беда не

в коммунизме, а в коммунистах, которых я еще в юношеском возрасте трактовал на такой манер: сравнительно дураки; не узурпаторы, не фанатики, не злодеи, а именно дураки. По этой причине я принципиально не подавал заявления в партию, при этом считая себя истинным коммунистом, для которого просто-напросто нет настоящей коммунистической партии, вследствие чего меня с младых ногтей подозревали в антисоветских настроениях и дважды не приняли в комсомол.

Однако по поводу III-й программы КПСС меня брали сильные сомнения, так как представлялось маловероятным, чтобы наш задумчивый русачок исхитрился за двадцать лет не то чтобы наладить распределение по потребностям, а хотя бы ликвидировать катастрофическую нехватку всего и вся. Действительно, в те годы народ отстаивал годовые очереди, чтобы купить на свои кровные самую обыкновенную мебель, автомобиль считался показателем сказочного богатства и навевал подозрения, загородные дачки строились чуть ли не из тарной доски, и нужно было обежать с десятков продовольственных магазинов, пока не наткнешься на искомую сырокопченую колбасу.

Что же касается вопроса о равенстве полов, то все-таки я отвечал на него по-старомосковски: курица не птица, баба не человек. Вернее, человек, конечно, но не настолько совершенный и всемогущий, как мужчина, поскольку представительницы прекрасного пола злопамятны, недобродушны, не умеют быть широкими, сочинять серьезную музыку, строить философские системы и коротко говорить. Пришлось довольно долго пожить, еще лет десять, по крайней мере, чтобы прийти к самостоятельному и, возможно, свежему заключению, поскольку до меня, кажется, никто такого не заключал: со временем мир преобразится по женскому образу и подобию, во всяком случае, миру следует как-то обаяться, чтобы спастись, хотя бы потому, что ничего другого не остается, — ни красотой, по Достоевскому, он никак не спасается, ни ростом производительных сил, ни хитроумием политиков, умеющих коротко говорить, и вообще не нужно много ума, чтобы поправить дело, а нужна хорошая сиделка, желательно российского образца.

Между тем время поджимало, пора было подумать о выборе профессии, основных ориентирах и наметках жизненного пути. В детстве я долго мечтал стать сказочником вроде Андерсена, однако меня смущало, что это было все же легковесное, немужское, даже скорее старушечье занятие, ибо первые сказки я слышал от своей няни Ольги Ильиничны Блюменталь. В отрочестве я, как говорится, спал и видел себя полярным летчиком вроде Сани Григорьева из «Двух капитанов»,⁵ но у меня открылся хронический легочный недуг, и мать сказала, чтобы о летных профессиях я даже и не мечтал. После я хотел стать пограничником, дипломатом, кладоискателем, журналистом-международником, кинологом, шахматистом, мужем Татьяны Бабановой⁶, но собственно в юношеские годы мне вдруг что-то всё расхотелось и я решил просто отучиться на каком-нибудь гуманитарном факультете, а в дальнейший путь пуститься, по русскому обычаю, на авось. Гораздо больше меня тогда занимали девушки и женщины, особенно женщины лет под тридцать, о блудливости которых я начитался у Бальзака. Воображение постоянно рисовало соблазнительные картины, только и было разговору что о технике соития, и со мною, как с чеховским железнодорожником, истерика делалась, стоило мне заприметить в толпе то самое призывное движение от бедра. Почему-то тогда казалось, что как только иссякнет интерес к прекрасному полу, жизнь сразу кончится и, видимо, придется выбрасываться из окошка с моего четвертого этажа. Но вот уже много лет, как соитие представляется мне действием прежде всего негигиеничным, — и

⁵ Роман В. Каверина, которым мы все тогда зачитывались и который теперь невозможно перечитать.

⁶ Великая актриса середины прошлого столетия, покорившая меня своим заgrabным голосом; в мои ранние годы она так задушевно читала по радио художественные тексты для юношества, что ее мудрено было не полюбить.

ничего, жизнь продолжается, и даже она как-то ловчее продолжается, нежели в те годы, когда я постоянно томился похотью и внимал рассказам прескучного Бальзака.

Из прочих пристрастий моей юности упомяну о неожиданно открывшейся во мне склонности к одиноким прогулкам, которую я практиковал в течение многих лет. Обычно я заезжал на третьем номере автобуса за Садовое Кольцо и часами бродил в переулках между улицами Горького и Пушкинской (сейчас Тверской и Большой Дмитровкой), или между улицами Дзержинского и Жданова (сейчас Большой Лубянской и Рождественской), или в Арбатских переулках, или осваивал совсем уж неромантические местности вроде пространства между Курским вокзалом и площадью Ильича. Я часами бродил, засунув руки в карманы, по тихим московским закоулкам, среди умильных двухэтажных домиков, которые строили наши Тигры Львовичи второй гильдии, и угрюмых серых махин восточно-европейской архитектуры, которые словно взяли на караул, заглядывал в подворотни, сквозь которые виделись приютные наши дворики, в те времена еще поросшие муравой, с деревянной помойкой на задах и качелями, подвешенными к какому-нибудь двухсотлетнему тополи, и мне было томно и как-то мучительно хорошо. Чувства обострялись, особенно обоняние, остро реагировавшее на запах палой листвы и даже металлический дух от трамвайных рельсов, в голове постоянно играл какой-нибудь трогательный мотив,⁷ откуда-то бралось возвышенное ощущение то ли одиночества, то ли исключительности, словно настоящее на внутренней, невыкатившейся слезе. Теперь думаю, что чувство это происходило от некоторой пустынности тех мест, где я совершал прогулки; в те годы Москва еще не отличалась многолюдьем, автомобили не так досаждали пешеходам, магазинов было мало, и были они неприглядны, и воняли за километр. Полагаю также, что Москва, несмотря на свой захудало-имперский облик, город в высшей степени поэтический, или даже лучше сказать так: Москва тем нам и дорога, что она странно похожа на русского человека, потому что это город, у которого есть душа.

Однако же стихи я писал самое короткое время, даром что был настроен резко сентиментально, но поскольку в этом возрасте версифицируют почти все, то волей-неволей приходишь к заключению, что склонность к художественному творчеству, которая в известные сроки открывается в начинающем человеке, обличает в нем кое-какие признаки Божества. Вот если бы бобрята обожали строить египетские пирамиды, а едва оперившиеся птенцы увлекались хоровым пением, то тогда еще можно было бы согласиться с тем, что человек есть продукт социально-экономических отношений, и миром правит не Высшая Сила, а учетная ставка на капитал. Правда, с годами эта уникальная способность к образному творчеству испаряется в девяносто девяти случаях из ста, но ведь и юноша так же отличается от зрелого человека, как куртина из жасмина от забора из силикатного кирпича. То есть похоже, что именно в юности человек надолго порывает связь с животворящим своим началом, вступая в длинный-предлинный период существования, наполненный чепуховыми заботами и нелепыми делами, который и называется – жизнь. И, стало быть, жизнь – это напрасная трата времени, своего рода прострация, в самых несчастных случаях охватывающая весь период вплоть до логического конца.

Вместе с тем у меня обнаружилось одно пристрастие грубо-материального характера, а именно непреодолимая симпатия к разным изящным вещам заграничного происхождения, как-то: шариковым ручкам, которые тогда только-только пришли на смену перьевым, зажигалкам с фокусами, затейливым брелокам, шейным платкам, к которым еще Гоголь был равнодушен, кепочкам из синтетического материала, который почему-то назывался «болонья», и прочему вздору, сделанному с учетом эстетической потребности большинства. При-

⁷ Меня по сию пору мучает музыка, сама собою звучащая в голове, от которой невозможно отделаться; хорошо, если это «Юмореска» Сметаны, а если «девушка Прасковья из Подмосковья» – то наказание и беда.

страстие это было, по тогдашним понятиям, предосудительное, но извинительное с общечеловеческой точки зрения, так как материальная жизнь народа была до крайности неизящна, и мало-мальски стильно одетый человек настолько вываливался из городского ансамбля, что на него пальцем показывали, как на злостного чудака. Я тогда сердился за это на моих соотечественников, и напрасно, поелику, кажется, можно было бы догадаться, что социализм – это прежде всего некрасиво, что по своей природе он антиэстетичен, и разница между советским человеком и человеком Запада – чисто салтыковская, то есть это разница между мальчиком в штанах и мальчиком без штанов. Кстати припомнить, в середине 60-х годов я обзавелся первыми в моей жизни американскими штанами, купленными у приятеля за двадцать пять рублей (деньги по тем временам непомерные за поношенную вещь), которые еще не называли «джинсами», и это были едва ли не единственные «джинсы» на моем курсе, и девочки из нашей группы (провинциального происхождения) смотрели на меня так, точно я и впрямь был неприлично экзотичен, как лилипут.

Наконец, в юности меня поразило пристрастие к бесконечным и бессмысленным спорам, то есть излюбленной нашей забаве, к которой из поколения в поколение неизбежно приобщается русская молодежь. Спорили мы, разумеется, на темы самые отвлеченные, когда угодно и где угодно, хотя бы в очереди за пивом или в парилке Центральных бань. Мы противоречили себе на каждом шагу, горячились и при этом то и дело косились на невольных свидетелей наших прений, как бы анализируя то впечатление, которое производят на публику наши восторженные умы. Выглядело это примерно так...

Я: Если перенести учение Лобачевского о пересекающихся параллельных в общественно-политическую сферу, то выйдет, что в конце концов социализм и капитализм сойдутся в какой-то точке, и в результате этого мезальянса родится качественно новый строй.

ТОВАРИЩ: Во-первых, это жалкое маркузеанство,⁸ которое серьезному мыслителю не к лицу. Во-вторых, высшая математика – это одно, а общественно-политическая сфера – совсем другое. В-третьих, с чего ты взял, что социализм и капитализм – параллельные прямые? Может быть, это как раз расходящиеся прямые? И точно они – расходящиеся прямые, потому что они ни грамма не конгруэнтны промеж собой!

Я: А мне кажется, что социализм и капитализм как раз конгруэнтны, потому что, например, научно-технический прогресс развивается там и тут! А по второму пункту я возражу, что весь мир движется к своей цели, опираясь на единый алгоритм, то есть и человек растет, и дерево растет по единому образцу. Надо быть шире, приятель, надо все-таки как-то преодолевать это сектантство в самом себе!

ТОВАРИЩ: Сектантство тут ни при чем. Просто человек, который твердо стоит на марксистско-ленинской платформе, осознает: Запад есть Запад, Восток есть Восток. И им никогда не сойтись, даже если капитализм вырождается в сплошную благотворительность, а социализм будет – сплошной учет!⁹

Я: Ну, это уже пошла литература...

И еще с полчаса о том, развивается ли изящная словесность как наука, и способна ли она исследовать объективную действительность, как наука, или она, что называется, вещь в себе...

Занятно, что и в зрелые годы мы не отстали от этого чисто национального способа времяпрепровождения; бывало, засядем на кухне и, в счастливом случае под водочку, в бедственном за чайком, давай толочь воду в ступе хотя бы на тот предмет, что культура умерла,

⁸ На самом деле теория Герберта Маркузе не имеет никакого отношения к теории конвергенции, которая была популярна на Западе во второй половине прошлого столетия, но до нас толком не дошла и только бередила умственный интерес.

⁹ В одной из последних своих работ Ленин утверждал, что социализм – прежде всего учет.

или ее обуяла летаргия, или она въелась в генетический код и больше просто-напросто не нужна. Это глупо и мило, но русский разговор почти всегда – спор.¹⁰

Подозрительно, что увлеченное более или менее возвышенным интересом юношество моего круга в то же время питало склонность к разным рискованным проделкам, таившим в себе прямую угрозу жизни, и как я остался цел и невредим, несмотря на бесшабашные выходки юности, ясно только Тому, кому ясно всё. Мы лазили в комнату к девочкам из нашей группы по карнизу пятого этажа, носились по крышам товарных вагонов на полном ходу поезда, сигали в мутные воды Москвы-реки с Каменного моста. Такие штуки мы проделывали и на трезвую голову, и в подпитии – следовательно, дело было не в винных парах и не в том, что бог детей и пьяных любит; дело в том, что человек в юности – не полностью человек, ибо человек окончательно и вполне – это еще и тот, кто непрерывно ужасается смерти и превыше всего ставит дар жизни, подробно ощущая себя центральной точкой между двумя вечностями: шестью миллиардами лет позади и шестью миллиардами впереди.

В годы моей юности молодежь вдруг вспыхнула любовью к семиструнной гитаре, бывшему излюбленному инструменту уголовников и мещан. Еще школьниками мы часто собирались после уроков в нашей классной комнате, выпивали одну на всех бутылку чудесного армянского портвейна (рубль тридцать две копейки за поллитровку) и пели под гитару песни самого наивного содержания, которые, впрочем, неизменно вгоняли нас в лирическую тоску. Студентом же я из дома не выходил без гитары, как в зрелые годы без паспорта, сам пытался сочинять песни, но без особенного успеха, поскольку мне не хватало романтизма и простоты.

Хотя романтиками мы были отчаянными, собирались всем курсом идти на войну с Китаем,¹¹ теоретически презирали материальные блага, без копейки в кармане шатались по Советскому Союзу и порой забирались в такие глухие углы, где не то чтобы не слышали про советскую власть, но имели самые размытые понятия об электричестве, пересылались с нашими девочками курьезными записками, относящимися к рубрике «любовь побеждает смерть». (Не в том смысле, что *любовь* побеждает смерть, а в том смысле, что *любовь* побеждает *смерть*.)

И дружили мы в юности не так, как дружили в отрочестве и потом в зрелые годы, когда друзей уже не бывает, а бывает инерция отношения, соратники, жены и поверенные в делах. В отрочестве дружба – это эффект двойника, воплощенный в стойком удивлении, – дескать, вот ведь как интересно: вроде бы ты единствен и неповторим и вдруг какой-то человек говорит, поступает, думает, как и ты. В юности же мы дружили на тот же самый романтический манер, почти страстно, с жестокими размолвками, тяжелыми объяснениями, а главное – мы не представляли себе существования без так называемой настоящей мужской дружбы, поелику человек в эту пору всегда неполный, вроде безногих калек, которым невозможно без костыля.

С моим первым и настоящим другом Вовочкой Камчатовым мы тяжело дружили все юношеские годы, потом как-то незаметно разошлись и с тех пор не знаем много лет.

Наши тогдашние отношения тем были отчасти отягощены, что мы принадлежали к разным общественным слоям, хотя и не антагонистическим: Вовочкин отец полжизни прожил за границей, я был, что называется, из простых. Впрочем, нужно отдать должное социальной практике моей юности, которую вольно или невольно поощряли большевики: мои сверстники из *непростых* хладнокровно относились к своему исключительному положению, и даже в семьях высокопоставленных государственных чиновников культивировался чуть ли не аскетизм. Вот училась в нашей группе дочка одного из первых хозяев страны, и что же? –

¹⁰ Бывают же, действительно, «странные сближенья»: между английским «sport» и русским «спором» разницы практически никакой.

¹¹ Это была пора крайнего обострения отношений между СССР и Поднебесной, доходившего до вооруженных столкновений на границе и осады посольств в Пекине и в Москве.

и одевалась она, как все, и занималась, как все, и вела себя достойно, но, правда, держалась настораживающе-ортодоксальных воззрений в ту пору, когда фронда нашему оголтелому большевизму уже распространилась критически широко. Помнится, как-то на семинаре по источниковедению (почему именно на семинаре по источниковедению?) я сказал:

– Отчего это русскому народу вот уже тысячу лет как не дают свободно высказывать свое мнение? – не пойму!

– Оттого, – сообщила мне дочка одного из первых хозяев страны, – что у нас полно таких дураков, как ты.

(Меня и в отрочестве, и в юности так часто называли дураком, что по самые зрелые годы живо интересовал вопрос: дурак я на самом деле или же не дурак?)

Теперь я с моей однокашницей, пожалуй что, соглашусь; впоследствии оказалось, что свобода слова, этот гуманнейший институт и опора цивилизации, способна повлечь за собой такие оглушительные перемены, такие жестокие пертурбации и метаморфозы, что, может быть, лучше было бы оставаться, как преферансисты выражаются, «при своих»... Хотя, разумеется, кто бы мог подумать, что Александру Ивановичу Герцену со временем наследует такое несообразное соотношение: в бывшей культурной столице мира окажется гораздо меньше книжных магазинов, чем борделей и казино. Вообще периферийная жизнь человека у нас кроится так неразумно и сшивается так небрежно, что нет расчета серьезно заниматься чем бы то ни было, кроме как чтением книг и самим собой.

В юности я узнал, что такое бедность, и даже не бедность, а своеобразная прелесть скрупулезной экономии ради светлого дня, то есть ежесубботних студенческих пирушек¹² или пары новых туфель, жизненно необходимых по той причине, что такие носили все. Стипендии нам тогда платили тридцать два рубля с копейками, и, если ты, что называется, не сидел на шее у родителей, этого никак не хватало на прожитие. Почти все мои однокурсники сидели на шее у родителей, но я решил во что бы то ни стало существовать на собственный кошт, даже если бы за это мне причитались нервное истощение и гастрит. На практике это означало, что рубль-целковый ежедневного бюджета нужно было хитроумно разложить по таким статьям: городской транспорт, минимум хлеба насущного, сигареты, пятьдесят копеек на светлый день. Пачка болгарских сигарет стоила четырнадцать копеек, стакан томатного сока и два пирожка с мясом в университетском буфете обходились в тридцать копеек, на дорогу туда и обратно уходило десять копеек в день. Таким образом, четыре копейки в день составляли вечную прореху в моем бюджете, которая у политэкономов называется – дефицит; эти четыре копейки были мое вечное мучение и позор.

Разумеется, такое скудное содержание представляло собой скорее исключение из правила, нежели правило, поскольку я тогда время от времени подрабатывал по ночам. В связи с обычными жизненными передрыгами (то мне позарез потребуются новые туфли, то приспичит съездить с девушкой в Ленинград, то понадобится срочно заплатить должок) мы с моим другом Колей Майоровым то разгружали кирпич на станции Москва-III, то на почтамте таскали мешки с почтой, то гоняли тележки с мокрым ситцем на текстильной фабрике «Красный мак». В такие дни нам требовалось усиленное питание: утром мы ели хлеб с луком, в обед – те же самые пирожки с томатным соком, а среди ночи ходили в столовую троллейбусного парка, работавшую круглосуточно, где съедали по три порции гарнира с каким-нибудь соусом и очень много горячего хлеба, который доставляли прямехонько из хлебо-булочного комбината имени X-летия Октября.

¹² По субботам, после занятий, мы скидывались по три рубля с носа, покупали водки, ржаного хлеба, сырых яиц и, укрывшись в одном прелестном университетском закоулке, пьянствовали до тех пор, пока нас не разгоняли добродушные тогдашние сторожа. После мы до глубокой ночи гуляли по Москве, еще не враждебной, не страшной, более поэтической, чем благоустроенной, и бесились, сиречь распевали песни и горячо болтали о том о сем.

Справедливости ради замечу, что тогда пролетарствовал я эпизодически, от случая к случаю, и ничто по-настоящему не отвлекало меня от университетских занятий, ну разве отчасти девушки, продолжительные прения с чешскими практикантами по поводу «Пражской весны», неприятности с факультетским комитетом комсомола, одно время взявшим моду досматривать наши портфели на предмет запрещенной литературы, и тяжелые истории с однокашниками, вроде трагедии, приключившейся с первокурсником Делоне, диссидентом и чудачком, который был арестован на большой перемене между двумя «парами» и, кажется, покончил с собой в тюрьме «Матросская Тишина». Немудрено, что учился я примерно, главным образом на «отлично» и «хорошо». Впрочем, и то не исключено, что, кроме всего прочего, наши профессора снисходили к студенчеству из простых. Профессора, замечу, у нас были чудесные, хотя попадались и негодяи, вроде преподавателя истории КПСС, который писал в деканат доносы на вольнодумцев, или преподавателя атеизма, который иначе не принимал зачеты у самых привлекательных наших девушек, как с третьего раза и на дому; его племянник, учившийся курсом старше, говорил про дядю:

– Его даже собственная собака не любит, такой он гад!

Так вот в конце первого курса я неожиданно женился, и жизнь вошла в жесткую колею. Я уже было выстроил в уме будущую карьеру, положив лет к тридцати выйти в большие люди (собственно поприщу деятельности я тогда почему-то не придавал особенного значения), и отнюдь не собирался обзаводиться семьей раньше намеченного срока, но то ли поветрие такое нашло на наше поколение, то ли резко повысилась солнечная активность: многие из нас обженились и повыходили замуж до смешного рано, едва вырвавшись из родительского гнезда. Но, вероятнее всего, причиной тому было раннее повзросление и неудержимое стремление к независимому существованию, хотя бы и на фу-фу. С другой стороны, мы были едва ли не первое поколение русских людей, не знавшее большой войны и настоящих тягот, обыкновенных для нашей жизни, например, мы не голодали и нас не мыкали по тюрьмам, – было с чего сдуреть... Нынешние недоросли, слава богу, либо надевают хомут под старость, либо не надевают его совсем.

Жили мы тогда в двадцатиметровой комнате вчетвером: я, жена, мать и сынишка, родившийся через полгода после бракосочетания, так как моя благоверная не доносила его месяца с полтора. Доходы наши были самые скудные, даром что мне приходилось работать уже не эпизодически, а постоянно и круглый год. Единственное облегчение состояло в смене профессий: то я работал монтировщиком декораций, то полотером в геодезическом управлении (на мне были семь этажей кабинетов и коридоров плюс огромный читальный зал), то грузчиком в «Березке»,¹³ где я, впрочем, практиковался в политесе и языках. Я поднимался ни свет ни заря, к половине девятого являлся в университет, между двумя и тремя часами пополудни обедал чем бог послал, потом ехал, положим, в геодезическое управление, около полуночи возвращался домой и ложился спать. В эту пору я ничего не читал, кроме учебников, разве что урывками и в метро.

Летом же, когда у психически нормальных студентов бывают каникулы, я отправлялся шабашить на стороне. Вот почти полный перечень тогдашних моих мытарств: в качестве плотника-бетонщика я сооружал плотину гигантской гидроэлектростанции у черта на рогах, мыл золото на Колыме, подручным каменщика строил детские сады в Мордовии, ходил по Каракумскому каналу матросом второй категории, каботажил в Охотском море на МРС (малый рыболовецкий сейнер), служил переводчиком в «Интуристе» и при партии канадских герпентологов, которые отлавливали гюрзу. Спрашивается: зачем?

Долго ли, коротко ли, с женой я развелся, сын вырос балбесом и, кажется, не прочитал ни одной книги после букваря, мать от нас съехала, устав от бесконечных фамильных

¹³ Были такие магазины для иностранцев, куда соотечественникам вход был категорически воспрещен.

склок. Наконец, я сам заметно пострадал в результате своих мытарств: учился я с пятого на десятое, вышел из университета сравнительно необразованным человеком и был настолько неначитан, что, например, о великих заслугах Белинского перед русской литературой узнал гораздо позже положенного, уже после того, как развелся во второй раз. Одного раза мне было мало, чтобы постичь простую истину: мужчине с женщиной жить нельзя; это существа в такой же мере разнотелные, как шиповник и наковальня, посему психическая цельность между ними невозможна, духовная гармония вряд ли достижима и, как правило, не о чем говорить; наверное, было бы лучше сходить время от времени ради продолжения рода человеческого, а в принципе жить врозь.

С другой стороны, мои мытарства были бессмысленны потому, что на поверку «Сентиментальное путешествие» Стерна оказалось несколько не содержательней «Путешествия по периметру моей комнаты» генерала Ксавье де Местра, и можно было как-то иначе проникнуть жизнь, как-то иначе подготовиться к поприщу деятельности, чтобы потом достойно отработать на будущее страны. Это, правда, при том условии, что будущее просматривается, а то как бы не вышло так, что ты готовишься к бескорыстному служению по департаменту высокого вкуса, а будущее нежданно-негаданно обернется в виде Саратовской республики, литературы как симптома женского заболевания, такой экономики, в рамках которой проще убить, чем договориться, вообще культуры, совершенно растворившейся в дурацких куплетах, из тех, что потворствуют половому созреванию и бурному росту зла.

А ведь сколько времени ушло, сколько мучений вынесено, кипучих сил потрачено на то, чтобы как-то подладиться под суженую и отчасти воспитать ее под себя... Через какую смуту надо пройти, чтобы окончательно определиться в профессиональном отношении, каких невероятных усилий стоит отстоять право заниматься любимым делом, пока, наконец, соперники, недоброжелатели, безразличные и доброхоты не сойдутся во мнении: да пусть его занимается, авось никого не опорочит и не обесчестит... И вот ты тридцать лет и три года трудишься по департаменту высокого вкуса, рассчитывая на достаток, известность, прочное положение, а в результате по всем трем пунктам выходит наоборот. Да еще в результате Саратовская республика, литература как симптом женского заболевания, такая экономика, в рамках которой проще убить, чем договориться, вообще культура, совершенно растворившаяся в дурацких куплетах, из тех, что потворствуют половому созреванию и бурному росту зла. Словом, мое отношение к первой четверти человеческой жизни такое же, как у кочегара к лопате или у подручного каменщика к кирпичу, и если бы меня спросили, хочу ли я вернуться в эту самую первую четверть жизни, я бы ответил не замешкавшись: ни за что!

Оказывается, мечтать надо было не о Татьяне Бабановой, не о килограмме тянучек и самокате, – мечтать надо было о том, чтобы скорее да незаметнее проскочить из сладкого детства в блаженную старость, на удивление похожие меж собой. Действительно, и старый, и малый незлобливы и добродушны, они радостно встречают каждый новый день жизни и ждут от него только хорошего, чутко отзываются на прекрасное и сторонятся всего нечистого, а главное, оба ничего не делают, по крайней мере из того, что в силу внешних обстоятельств вытворяет зрелое большинство.

Я, во всяком случае, давно ничего не делаю, ибо никому не желаю зла, то есть я праздную лодыря преимущественно по той причине, чтобы его ненароком не причинить. Теперь мое единственное занятие и отрада – чтение, которому я предаюсь во всякое время дня.

Что может быть лучше в положении человека, нежели устроиться на раскладном стульчике под какой-нибудь калиной и углубиться в мысли лучших представителей рода человеческого или в тревожащие замечательных людей, которые на самом деле никогда не существовали, вернее, существовали, но собирательно, как семья. Солнце равнодушно склоняется к горизонту, опушенному лиловыми тучами, тишь такая, что листья на деревьях не шелох-

нутя, точно насторожились, от ближайшего смородинового куста тянет сладким духом, а ты в это время, на выбор, можешь посочувствовать с доктором Дымовым, или обмозговать повадки старого князя Болконского, или всласть поучаствовать в споре отцов и детей, или подробно исследовать психологию игрока. Правда, в это время за изгородью лениво переругиваются баба Надя с бабой Нюрой, то есть бытует объективная реальность, которой необязательно бытовать.

В том-то все и дело, что под старость, когда человек становится разборчивее в своих связях, ему хочется общаться не с участковым уполномоченным, а, скажем, с Разумихиным или с виконтом де Бражелоном. Таким образом, квалифицированный читатель – это единственный человек на свете, который выбирает себе собеседника, соучастника и соумышленника, ибо в периферийной жизни мы вообще никого не выбираем, в чем и заключается основная трагедия бытия. А тут ты сам себе хозяин и, главное, вездесущ: председатель Совета Федерации, положим, тебя не примет ни под каким видом, но зато тебе элементарно доступен Шиллер, поскольку, что книжку почитать, что напроситься на чашку чая к Шиллеру, – всё одно.

И вот ты сидишь на своем раскладном стульчике под калиной и попеременно то наблюдаешь торжественный закат солнца, то возвращаешься к тихой и умильной радости чтения, которое навеивает тебе мысли, то есть вгоняет в состояние, предельно органичное нашему существу.

Мысли, впрочем, бывают не всегда сладкие, например: что жизнь? череда мгновений счастья в детстве, череда мгновений счастья в старости, между ними туман какой-то, а тут того и гляди накатит отходная дрема и ты подумаешь напоследок: «Только-то и всего?..»

УТРО ПОМЕЩИКА

Помещик — это такая фамилия. Много есть в России чудных фамилий, да еще и редко встречающихся, вроде цыган в очках, но эта совсем уж редкая и чудная: она кажется выдуманной, ее не найдешь в «Большой советской энциклопедии», о ней не слышать в быту. Тем не менее есть писатель Помещик, один заведующий лабораторией радиоуглеродного анализа Помещик и помещик Илья Помещик, который выводит свой общественный статус из однокоренных глаголов «поместиться» и «поместить». Такое игривое совпадение статуса и фамилии его не смущает и не смешит. Он пресерьезно называет себя помещиком Помещиком и видит задачу своей жизни в том, чтобы не зависеть ни от кого.¹⁴

Еще в 80-х годах прошлого столетия Илюша случайно попал под кампанию, получил условный срок за спекуляцию,¹⁵ и родители сослали его к бабке в глухой городок Калошин, частью от греха подальше, частью в наказание за грехи. Этот несчастный Калошин постоянно переименовывали в поселок городского типа и обратно, поскольку он был совсем маленький, немощный, избушчато-огородный и шесть месяцев в году утопал в грязи. Единственным каменным зданием на весь город была одноэтажная столовая, построенная еще пленными немцами, с двумя арками, над которыми были выложены красным кирпичом надписи «вход» и «выход», мансардой, где располагалась дирекция, и не по-русски большими окнами в полстены. Подавали в столовой почему-то всегда одно и то же: на первое борщ с порядочным куском сала, на второе свиную поджарку с вермишелью, на третье компот таких причудливых вкусовых качеств, что сразу было не сообразить, из чего он сварен: то ли из сухофруктов, то ли из овощей.

Сначала бабка поместила Илюшу в баньке на задах, так как она сдавала избу вахтовикам из Башкирии, а сама жила на чердаке вместе с кошкой и ручной вороной, явственно выговаривавшей фразу «Не смей воровать». Но вскоре старушка умерла и Илюша Помещик стал жить один. Теперь он помещался в избе, состоявшей из двух небольших комнат и кухни с русской печкой, в его распоряжении была банька, которую он, как водится, топил раз в неделю, по субботам, уборная на дворе, дровяной сарайчик, чердак, гамак, в котором прежде любили качаться вахтовики, и тридцать соток супесей, до того, впрочем, ухоженных, что они цветом отдавали в форменный чернозем.

Именно эти самые тридцать соток по-новому наладили его жизнь. Тут скорее всего крестьянские корни дали о себе знать, ибо со временем он так пристрастился к земледелию, как иных людей до нервного истощения увлекают женщины, карты и алкоголь. Он выращивал у себя на усадьбе картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, чеснок, горох, помидоры, огурцы, зелень, два вида перца, грибы вешенки и табак. Грибы он сам закатывал в трехлитровые банки и сдавал в потребительский кооператив, табак сам сушил и продавал оптом одному армянину из Старой Руссы и таким образом обеспечивал свои посторонние потребности, включая такие милые излишества, как вафельный торт «Ленинградский», который он съел за один присест. Впоследствии он завел несколько семей пчел, девять куриц с петухом, молочного поросенка и на соседнем заброшенном плане вырыл за два года обширный пруд,

¹⁴ Летом 1852 года Лев Николаевич Толстой начал писать «Роман русского помещика», который через пять лет вылился в «Утро помещика», но уже не роман, а довольно большой рассказ. Главным героем этого сочинения выведен молодой русский феодал-романтик, ищущий счастья в прелестях деревенской жизни и находящий его, по характеристике автора, «не в спокойствии, не в идиллических картинах, но в прямой цели, которую она представляет, — посвятить свою жизнь народу». Поскольку с тех пор понятия о счастье сильно переменились, занятно было бы вывести такого поисковика из нынешних, из сравнительно неромантиков и относительно простаков. Этот опыт тем более извинителен, что, по утверждению одного знаменитого писателя, сюжетов в литературе всего восемь, на единицу больше, чем нот, составляющих звукоряд.

¹⁵ Он покупал редкие книги в лавке писателей на Невском проспекте через одного знакомого официанта и продавал их на Кузнечном рынке букинисту из осетин.

куда запустил малька зеркального карпа и карася. К началу 90-х годов он уже был автономен, как подводная лодка, и его не страшил никакой социально-экономический переворот. А это как раз было время переворотов, которые вгоняли соотечественников в смятение и тоску.

Такое сложное, налаженное хозяйство – особенно поначалу – требовало полной отдачи сил. Илюша Помещик поднимался между пятью и шестью часами утра, что его нимало не тяготило, умывался и долго причесывался перед зеркалом, повешенным в простенке, когда за окошками еще только белело, выпивал с треть стакана свежего меда и шел на двор. Первым делом он навещал свою киргизскую розу, которая давала снежно-белые цветы, источавшие еле приметное благоухание, которое почему-то всегда навевало ему предчувствие нездоровья, какое бывает при резком перепаде температур. Он приседал на корточки, припадал ноздрями к каждому вполне распустившемуся цветку, и его ноздри хищно ходили, как отдельные существа. Тем временем наливалось настоящее утро: там и сям орали хриплые калошинские петухи, дымилась под косыми лучами солнца дальняя роща, видная со двора, соседи кашляли, галки кружили над Советской площадью, у кого-то призывно мычала корова, где-то стучал топор. Илья задавал корм своим курам, потом отправлялся на картофельный клин, с час обирал колорадского жука в жестянку с керосином и шел в избу. На душе было так основательно и покойно, как всегда бывает почти у каждого непьющего деревенского мужика.

Дома уже доваривался в чугунке мелкий картофель для поросенка и разливал по комнатам такой сладкий дух, что остро хотелось есть. Тогда Илюша ставил на печную конфорку сковородку с русским, топленным, маслом, крошил в нее несколько вареных картофелин, засыпал их мелко порубленным чесноком и заливал желтками того настоящего цвета, какой производит уходящее солнце в погожий день; к этому жаркому полагались два бутерброда с тушеной свиной, которую он приготавливал по рецепту, вычитанному у Елены Молоховец. Садился он есть всегда у окна и с аппетитом глядел на улицу, тыкая вилкой в сковородку либо хлебная щи. Прежде он любил слушать радио за едой, но потом разлюбил за склонность к ужасам и *музону* и обменял радиоприемник на газовую плиту. Еще прежде он за едой читал, но после ленинградской катастрофы видеть не мог книгу, и заодно с большими городами, где люди всецело зависят от центрального отопления и кампаний по наведению общественного порядка, возненавидел также писателей, что представляется совсем уж несерьезным, тем более что он отродясь ни одного писателя не встречал. Из окна видно было часть переулка и половину Советской площади, посреди которой стояла огромная гоголевская лужа, просыхавшая только в конце июля и превращавшаяся в отличный каток для детворы с наступлением холодов. В переулке изредка показывались прохожие в разных видах, а на площади, к двухэтажному срубу, который занимала районная администрация, то и дело подъезжали автомобили, служащие и просто публика сновали туда-сюда, а в луже плескались гуси и бродили пьяные, парами, обнявшись, как-то сосредоточенно бродили, точно исследовали глубину.

* * *

Одним июньским воскресным утром Илюша Помещик после завтрака собрался было идти на двор навести коровяка в огромном чане, который врос в землю сразу за банькой, но только вышел и взял в руки вилы, как вдруг что-то призадумался, оставил инструмент и уселся на перевернутое ведро. Изредка на него нападала загадочная истома, особенно по осени и в удушающую жару: тогда у него всё валилось из рук и хотелось только качаться в гамаке, повешенном между двумя старыми-престарыми березами, наблюдать за движением облаков, думать и переживать некое гнетущее и одновременно волнующее чувство, какое еще навевают дурные сны. Нужно было навести коровяка, местами перекрыть дрова-

ной сарайчик, потолковать с соседом Егорычем о покупке барских дров,¹⁶ замотать изолен-той две новые трещины в поливальном шланге, отбить новую литовку, принять меры предо-сторожности против роения в новом улье, поменять подгнившую ступеньку на крыльце, обстричь под эллипс можжевельный куст, обговорить с водопроводчиком Илларионом сто-имость труб, прополоть капустную грядку, наконец, приготовить себе что-нибудь на обед. Но ничего не хотелось делать, точно в нем внезапно сломалось что-то, и вскоре он уже томно покачивался в гамаке.¹⁷

Мысли, которые его занимали в подобные минуты, так или иначе вращались вокруг двух коренных вопросов: он думал о конечности личного бытия и о том, что есть истинный человек. Сначала он, как правило, перечислял в уме все несделанные дела и укорял себя за то, что бездельничает в самое горячее время, и ему становилось до невыносимости тяжело. Однако же затем приходила на ум вечная русская отговорка, что-де всех дел не переделаешь и вообще с какой стати горбатиться с утра до ночи, если всё равно приходится помирать. В особенности же его угнетала мысль, что по смерти его закопают в яму к личинкам и червя-кам, на его ухоженную усадьбу явятся, за отсутствием наследников, какие-то чужие, неиз-вестные ему люди, и, таким образом, окажется, что в их-то интересах он и горбатился почем зря... С истинным человеком дело обстояло куда сложнее; Илюша всё никак не мог вывести его формулу, хотя и склонялся к тому, что если даже хороший человек со слабостями – это не человек, то тогда совсем невозможно жить.

Истошно залаяла соседская собака, и он поднял голову в направлении калитки, кото-рую хорошо было видно из гамака. По ту сторону забора стоял, облокотясь на штакетник, незнакомый молодой человек, коротко стриженный и с какими-то испорченными глазами, на тот манер, как продукты питания портятся, – словно бы протухшими на жаре.

– Слушай, мужик, – сказал незнакомец, когда Илюша подошел к калитке и сделал вопросительные глаза. – Ты здесь дачником или как?

Илья ответил, что он живет в Калошине круглый год, занимается землей, совершенно опровинциализился и что это даже странно – как можно было принять его за приезжего чужака.

– А то смотри, мужик, – сказал незнакомец. – Скоро зима, дачки начнут грабить, надо подумать об охране, которую как раз обеспечивает наша фирма «Нахичевань».

Илюша спросил:

– А кто будет грабить-то?..

– Да мы и будем грабить, кому ж еще...

Чтобы только отделаться от неприятного молодого человека из фирмы «Нахичевань», Илья обещал подумать, и незнакомец на это сказал «ну-ну». Когда тот ушел, оставив по себе в воздухе что-то тягостное, отравленное, со стороны бокового заборчика его окликнул сосед Егорыч, личность преклонного возраста в замасленном ватнике и кепочке набекрень.

– Вот что я тебе посоветую, парень, – наставительно сказал он. – Ты этой шпане повадки не давай. А то привяжутся и будут тебя доить.

Сосед еще долго расписывал опасности общения с калошинской шпаной, и при этом выражение его лица и тон разговора были такими положительными, что Илюша Помещик не мог не вспомнить, как два года тому назад у него пропал великолепный финский колун с буковой рукояткой, который он потом мельком видел у Егорыча на задах.

¹⁶ Барскими в этих местах называются березово-ольховые, смешанные дрова.

¹⁷ Утренняя повестка у толстовского феодала-романтика Неклюдова состояла (если не считать одной деловой встречи) только из трех визитов с благотворительной целью, например, к крестьянину Ивану Чурисенку, который сидел без хлеба потому, что нечем было унавозить землю, навоз не задался потому, что скотины не водилось, а скотины не водилось потому, что нечем было ее кормить. Когда же на Неклюдова нападала хандра, он не в гамаке качался, а на старинном английском рояле музицировал и мечтал.

Утро было испорчено бесповоротно, Илюша еще пуще захандрил и после некоторых раздумий решил навестить по очереди троих своих калошинских приятелей, чтобы как-то развеять тревожную грусть-тоску. Приятельствовал он в городе с ветеринаром Володи́й Субботкиным, учителем физики в здешней школе Виктором Ивановичем Соколовым и милой старушкой, бывшей хористкой Кировского театра Софьей Владимировной Крузенштерн. Все трое жили на Советской площади, только с разных сторон лужи: Субботкин – наискосок от переулка, Соколов – по соседству с деревянным срубом районной администрации, а Софья Владимировна – к юго-востоку от лужи, возле руин, на месте которых некогда стояла пожарная каланча.

Дорогой он думал о том, что вообще нетрудно понять фанатиков-отшельников, фанатиков-молчальников и фанатиков, годами простаивающих на столбе. Но после его мысль выбралась на проторенную стезю: он подумал, что поскольку любого рода деятельность неизбежно связана с пороком, то истинный человек – это человек неукоснительной порядочности, который не делает ничего.

Володя Субботкин занимал половину сильно потемневшего рубленого дома еще дооктябрьской постройки, с зелеными наличниками, чугунным навесом над крыльцом и чем-то вроде миниатюрной башенки на углу. Его половина состояла из двух очень просторных комнат, в которых неприятно удивляли истертые половики, грязная посуда на обеденном столе, вечно неприбранная постель, и приятно – очень высокие потолки. Когда Илюша Помещик прошел через общие сени в комнаты, Субботкин стоял возле окна и задумчиво глядел на площадь, поглаживая себя от затылка ко лбу по коротко стриженным волосам.

– Ну чем не северная Венеция?! – сказал он Илюше и ткнул пальцем в замызганное стекло.

Действительно, накануне прошли дожди, лужа значительно увеличилась в размерах, и администрация устроила по краям ее мостки из соснового горбыля.

– Я удивляюсь на наш народ! – продолжал Субботкин. – Запусти сюда каких-нибудь голландцев, так через пять лет города будет не узнать, именинный торт будет, а не город, который надо срочно переименовывать, скажем, в Калошинштадт. Ведь местоположение чудесное, две реки, липы столетние стоят, а плюнуть хочется: всё заборы, сараи, избушки, тление и разор! Ты, кстати, в Голландии не бывал?

– Откуда! – сказал Илюша. – Я вообще дальше Петрозаводска не заезжал.

– Вот и я говорю: вроде бы чистоплотный народ, имеет понятие о прекрасном, но почему у него такие несусветные города?!

Илья не понимал этого вечного Володиного гераклитства; он давно полюбил маленький Калошин именно за то, что было так ненавистно Субботкину: за тихие пустынные улочки, спускавшиеся к реке, поросшие по сторонам крапивой и муравой, за уютные домики в три окна с неистребимой геранью в жестянках на подоконниках, за почерневшие от дождей заборы, из-за которых ломился блекло-розовый яблоневый цвет, за крашенные лодки, как-то беспробудно лежащие на берегу перевернутыми вверх дном, вообще за тот дух непричастности и покоя, что источают маленькие русские города.

– А то посмотри на этого идиота! – сказал Субботкин и снова ткнул пальцем в замызганное стекло.

Из окна было видно, как какой-то выпивший мужичок в болотных сапогах и клетчатой рубашке, расстегнутой до пупа, шел, балансируя, по мосткам, то и дело оступался, попадая сапогом в лужу, и, видимо, по этой причине заразительно хохотал.

– Вместо того чтобы выдвинуть свежую градостроительную идею, этот тип налопался водки с утра пораньше и теперь радуется жизни, как форменный идиот! Впрочем, по части водки я ему не судья.

Субботкин потрогал себя за печень и добавил:

– Вот жизнь проклятая: и пить нельзя, и не пить нельзя! Илюша собрался было поговорить с Володей о конечности личного бытия или о том, что такое истинный человек, но потом передумал и заскучал. Помолчали. Повздыхали. Минут через пять Илья откланялся и ушел.

Следующий визит был к Виктору Ивановичу Соколову, который снимал комнату у директора школы Ковалева, так как сравнительно недавно перебрался в Калошин из отдаленной Караганды. Комната была как комната, из тех, в какой сразу узнаешь съемную, ненадышенную, со старинным пузатым комодом, почетными грамотами по стенам в аккуратных рамочках под стеклом, радиоприемником в углу, кажется, еще детекторным, круглым столом, накрытым плюшевой скатертью, над которым низко висел оранжевый абажур. Пахло тут противно, чем-то химическим, навевавшим легкую тошноту.

– Чем это у тебя так воняет? – спросил, войдя в комнату, Илюша и уселся на венский стул.

– Толком не знаю, – рассеянно ответил ему Соколов; он в это время что-то писал, прикрывшись у подоконника, и по временам заглядывался на лужу с противоположной от Субботкина стороны. – Хозяин вчера тараканов морил, наверное, отсюда такая вонь.

Помолчали. Повздыхали. Наконец, Соколов сказал:

– Ты никогда не задавался вопросом, почему русский крестьянин, как правило, голодал? В том смысле «как правило», что ему каждый третий год не хватало хлеба до новины?

– Не задавался, – ответил Илюша, задумываясь. – А что?

– А то, что крестьянское хозяйство в России всегда было ориентировано на хлеб! Это в зоне-то рискованного земледелия, где один год урожай зерновых сам-двенадцать, другой – сам-пять! Тут, конечно, имеет место обидное недоразумение, потому что многие огородные культуры способны и в нашем климатическом поясе давать стабильный и убедительный урожай. Например, топинамбур, он же земляная груша, который гарантирует до пятисот центнеров корнеплодов в хороший год. О чем себе думали наши предки – ума не приложу!

– К чему ты мне всё это рассказываешь?! – перебил Илюша приятеля в некотором даже раздражении, так как он пришел к нему, в частности, поделиться своими соображениями о том, что такое истинный человек.

– К тому, что я сейчас пишу статью под названием «Похвала топинамбуру» из моей серии «О просвещении России». Так меня в настоящее время эта материя занимает, что к урокам готовиться некогда – вот до чего дошло! Сейчас прочту тебе самые принципиальные куски, чтобы ты понял суть...

Делать было нечего: Илюша Помещик битые полчаса слушал занудное чтение своего приятеля и думал о том, отдаст учитель полторы тысячи рублей, которые он занял в прошлом году, или же не отдаст.

Софья Владимировна Крузенштерн, как уже было сказано, жила с юго-восточной стороны лужи, в голубом домике в три окна. Как пройдешь через сени и через кухню, так откроется опрятная комната с тяжелыми синими портьерами на окнах, огромным резным буфетом орехового дерева, высокой никелированной кроватью, убранной кружевным покрывалом, множеством фотографий на стенах, частью пожелтевших от времени, и засушенными букетиками, торчавшими отовсюду, которые почему-то первыми попадают на глаза. Впрочем, и тут пахнет нехорошо: затхло, старостью, так что поначалу дышать неприятно и тяжело.

Софья Владимировна встретила Илюшу Помещика той сияющей, обворожительной и вместе с тем холодноватой улыбкой, которые тогда еще были в ходу у светски воспитанных стариков. Моментально явился чай с крыжовенным вареньем, с домашними плюшками, и наладился разговор. У хозяйки он всегда отличался тем, что был обстоятельный и мужской.

– Куда-то катится Россия, куда, не знаю, – говорила Софья Владимировна, прихлебывая чай из серебряной ложечки с вензелем на черенке, – а хотелось бы знать, куда.

– В европейство, – сказал Илюша, – куда ж еще! То есть в пошлое, мелкое бюргерство, только вполне азиатского образца. К оголтелому материализму Россия идет, с поножовщиной, жуликами и такой администрацией, которую покупают за пятачок.

– Ну уж и за пятачок?

– Это я, конечно, фигуральную назвал цифру – пускай будет за миллион!

– Если так, то сердечно жаль. Все-таки русские только тем интересны Богу, что при всём нашем безобразии мы донельзя оригинальны, мы до того самобытны, что, с точки зрения европейца, больше похожи на обитателей большой Медведицы, чем на немцев и англичан. Да вот вы, Илья, говорите, что этой самобытности скоро придет конец... Тогда жди всяческих ужасов, потому что Бог потеряет к нам интерес.

Жестяные часы с кукушкой прокуковали полдень; Илюша отметил про себя: «Однако пошел адмиральский час!»

– Да, жаль, – продолжала Софья Владимировна, – все-таки в человеческом смысле прекрасная была, удивительная страна!

– Ну, я не знаю! Сухово-Кобылин еще когда писал: «Россия! Куда идешь ты в сопровождении своих бездельников и мерзавцев?!»

– И все же, и все же! Ведь я, поверите ли, еще заставляла порядочных людей! Вы знаете, что такое – порядочный человек?

– Теряюсь в догадках, – насторожившись, сказал Илья.

– А вот что... В 1936 году моего брата посадили по доносу некоего Лошадкина, который служил вместе с братом в издательстве «Учпедгиз». Так вот возвращается он через двадцать лет из лагерей и напрямик идет к этому самому Лошадкину на прием (тот тогда занимал какой-то высокий пост). Разумеется, Лошадкин перепугался до – извините – недержания мочи, а брат ему вручает роскошную шкуру северного оленя и говорит: «Я пришел поблагодарить вас за то, что по вашей милости остался порядочным человеком, а не сделался подлецом». «То есть это как?» – удивился Лошадкин. «А так! – отвечает брат. – В те подлые времена, когда меня посадили по вашему доносу, у человека был один выбор: либо уйти в пастухи, либо сделаться подлецом. А так я двадцать лет работал кайлом на свежем воздухе и водился с замечательными людьми». «А в пастухи-то почему?» – спрашивает Лошадкин. Брат отвечает: «Потому что на корову не донесешь».

Софья Владимировна помолчала с минуту и продолжила, вдруг сбившись с мужского тона:

– А теперь кругом одна пакость и мелкота. Шурка – это моя соседка справа – торгует самогоном. Светка – это моя соседка слева – проститутка, и приворовывает дрова. Мишка, ее муж, как напьется, так вся семья прячется в подпол, иначе пойдет резня...

Она еще довольно долго перечисляла окрестных негодников, и помещик Помещик вскорости заскучал.

По дороге домой он немного постоял напротив руин, оставшихся от пожарной каланчи, купил в ларьке банку тушенки на обед, понаблюдал за телятником, тершимся о забор, и решил, что истинный человек есть нравственный абсолют.

Адмиральский час еще не истек. Дома Илюша достал из старинного поставца темный серебряный стаканчик, кусанный покойной собакой, топтанный соседским мальчишкой, обезображенный кислотой, которой он по незнанию пытался ликвидировать патину, после снял с верхней полки графинчик зеленоватого стекла и налил себе пахучей здешней водки, несколько отдававшей в хороший сахарный самогон. Затем он отрезал от буханки ломоть свежего ржаного хлеба, разбил на него полусырое яйцо, посыпал мелко нарубленный зеленый лук, укроп и петрушку и, наконец, выпил и закусил. Только-только он почувствовал в животе радостные искры, как у крыльца призывно кашлянул водопроводчик Илларион.

Илюша вышел к нему, сел на ступеньку и внимательно замолчал. Илларион сказал:

– Послушай, хозяин, какая вещь: полипропиленовые трубы, сороковка, будут стоить пятьдесят рублей за погонный метр, а не двадцать два, как я давеча сообщал.

– Это почему, интересно?! – возмутился Илюша. – Откуда такое скоропалительное движение цен?

Водопроводчик в ответ:

– Послушай, хозяин, какая вещь: младшей дочке нужно будет купить к осени новое пальто – не ходить же ей, в самом деле, осенью без пальто! А так, конечно, труба стоит двадцать два рубля за погонный метр...

Илья до того растерялся, что не нашелся, как ему возразить. Он поднялся, повернулся спиной к водопроводчику, словно того уже отнюдь не существовало в природе, и зашагал к своему любимому гамаку.

Он лежал, покачиваясь, и долго бездумно наблюдал за движением облаков.¹⁸

¹⁸ Литература существует, в частности, для того, чтобы налаживать связь времен. Сто пятьдесят лет тому назад Лев Толстой вывел череду сельских монстров и феодала-романтика, который бьется как рыба об лед, пытаясь осчастливить своих крестьян, а их нельзя осчастливить, потому что вообще осчастливить человека никак нельзя. В результате помещик Неклюдов любит на ловкого деревенского парня Илюшу Дутлова, счастливого в своей первобытной простоте, и вопрошает себя, «зачем он не Илюшка», а недоучившийся студент, романтик и феодал. Следовательно, связь времен заключается в том, что и помещик Неклюдов понимает, что счастье заключается все же не в том, чтобы «посвятить свою жизнь народу», и помещик Илюша Помещик понимает, что счастье – это когда ты покачиваешься в гамаке, наблюдая за движением облаков.

Николаю Васильевичу

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Главное свойство русского способа существования таково: жизнь в России больше искусство, нежели что бы то ни было еще, – чем осознанный путь от материнского лона до могилы, чем пожизненное служение тому или иному идеалу, чем «смертельная болезнь, передающаяся половым путем» (по Занусси), или там борьба, тайна, случайность, недоразумение, дар небес. То есть мы живем не по законам физиологии и политической экономии, а по законам жанра, которому подчиняемся в силу сложившихся обстоятельств, будь то античная трагедия, или парадный портрет, или сущностное кино. Во всяком случае, то, что происходит во французской литературе, может произойти только во французской литературе, взять хотя бы идиотские похождения графа Монте-Кристо, а то, что происходит в русской литературе, свободно может произойти где-нибудь в Рузаевке, на фабрике резиновых изделий, в любой задавшийся вечерок.

Вот гоголевская «Шинель»; ведь не из большого воображения Николая Васильевича выросла эта вещь, а из действительного происшествя, приключившегося с маленьким русским чиновником, который мечтал купить лепажевское охотничье ружье, полжизни копил на него деньги, приобрел-таки дорогостоящее оружие и нечаянно утопил его в болоте во время первой же вылазки на пленэр. Другое дело, что из этого драматического события требовалось выделить определенное направление, извлечь пафос, как из числа извлекают корень, но это уже относится к чистому ремеслу.

Слава богу, таковое ремесло стоит у нас высоко, вообще русский писатель знает свое дело, наравне с изобретателем вооружений, программистом, жуликом и автором социально-экономических катастроф. И даже Гоголь, сдается, не особенно мучился, выводя пятую сущность из приключения с лепажевским ружьем, поскольку наша действительность сама по себе предлагает множество разных направлений, и автору остается единственно выбирать. Николай Васильевич остановился на следующем варианте: если отнять у маленького человека что-то особенно дорогое его сердцу, например, только что пошитую шинель или алкогольные напитки, как это стряслось в начале Первой мировой войны, то в скором времени жди беды. В ту эпоху, когда жил и творил Гоголь, этого было достаточно, чтобы совершенно поразить читателя, который не был так изощрен и требователен, как сейчас.

А сейчас читателя затруднительно поразить. Разве что его можно вывести из равновесия (не особенно, впрочем, рассчитывая на успех), если продемонстрировать некоторые возможности родной литературы, органически вытекающие из нашего способа бытия. Именно из того качества этого бытия, что жизнь в России – сама по себе искусство, со всем тем, что ему довлеет: фабулой, избыточными страданиями, неожиданными поворотами событий, ненормальными поступками, форсированными страстями и такими воспаленными диалогами, каких, казалось бы, вживе не услышать.

За основу возьмем также действительную историю, которая развивалась в Москве и ее окрестностях в течение долгих лет и опять же вылилась в более или менее фантастический результат. В начале 90-х годов инженер-технолог Юрий Петрович Лютиков, всю свою жизнь проработавший на заводе «Калибр», вышел на пенсию и вознамерился купить подержанный отечественный автомобиль. То есть он вознамерился его купить очень давно, еще когда закончил Московский станкостроительный институт и пошел работать на завод «Калибр», но в те веселые времена оклады инженеров были такие маленькие, а подержанные автомобили такие дорогие, что дело растянулось на долгие сорок лет.

Все эти годы Юрий Петрович только и жил, что этой своей мечтой. Вообще так сосредоточиваться на мечте не совсем по-русски и мономания среди наших соотечественников – редкость, когда дело касается материальной стороны жизни, но у него в роду были крымчаки, поволжские немцы и латыши. Как бы то ни было, Лютиков с молодых лет выписывал журнал «За рулем», уже женатым человеком все выходные торчал в соседних гаражах, где завел множество приятных знакомств, но главное – он копил. Еще будучи студентом он как-то скрупулезно подсчитал, что если ежемесячно откладывать от заработной платы рублей двадцать-тридцать, то за десять лет жизни как раз наберется на подержанный отечественный автомобиль. С первой же полочки он положил четвертную в старинную жестяную банку из-под ландрина, и его обуяло такое чувство, как будто он только что вышел из своих любимых Центральных бань. «Если ты последователен, – подумал Лютиков, – неукоснительно верен цели, то нет таких крепостей, которые бы не взяли большевики!»

Не тут-то было; в молодые годы его постоянно преследовали незапланированные расходы, как-то: на холостяцкие пирушки, подарки возлюбленным, консультации у венерологов, приличную одежду и путешествия по стране; за границу в те годы еще не ездили, поскольку власти предержащие серьезно опасались, что народ разбежится по соседним государствам и в конце концов не над кем останется мудровать. Потом Лютиков женился, и такие пошли расходы (например, на содержание дачки в поселке Передовик), что из аванса ему удавалось отложить в свою старинную жестяную банку из-под ландрина в лучшем случае трешку, и пятерку в лучшем случае под расчет. К тому времени, когда от Лютикова ушла жена, а дочь выскочила замуж за лейтенанта пограничных войск и уехала на заставу в Азербайджан, у него накопилось только шестьсот пятьдесят рублей.

Когда ушла жена и дочь выскочила замуж за лейтенанта, тогда-то он и начал копить по-настоящему, вдумчиво и всерьез. Так как до трех тысяч целковых, за которые можно было купить приличный подержанный автомобиль, ему не хватало двух тысяч трехсот пятидесяти рублей ровно, то в идеальном варианте нужно было откладывать сотню в месяц, – иначе он рисковал помереть от старости прежде, чем будет достигнута его цель. Между тем зарабатывал он в то время сто пятьдесят четыре целковых чистыми и, следовательно, был вынужден экономить даже на мелочах.

Первым делом Юрий Петрович рассчитал основные статьи бюджета, как-то: плату за квартиру, газ, воду и электричество, расходы на транспорт, необходимейшие лекарства, непредвиденные траты и, таким образом, вычислил минимальную сумму на собственно прожитье. За квартиру и коммунальные услуги он платил двадцать семь рублей в месяц, десятку выделил на необходимейшие лекарства, столько же на непредвиденные расходы и пятерку положил на разъезды туда-сюда. Стало быть, вычтя эту часть дебета из месячного жалования, он получил сто два рубля сальдо, из которых решил стойко откладывать в старинную жестяную банку из-под ландрина семьдесят рублей и ни копейкой меньше, даже если бы ему пришлось форменно голодать.

Как это ни покажется неправдоподобным, на тридцать два рубля в месяц он действительно умудрялся существовать. Это, главным образом, благодаря хлебу, которым Лютиков питался по преимуществу, – слава богу, в те поры у нас такой выпекали хлеб, что никто не удивлялся классической русской литературе, в частности, уверявшей многие поколения читателей, будто бы наш простолудин веками и безболезненно сидел на хлебе, капусте да молоке. То есть превкусный был хлеб, что ржаной, что пшеничный, помимо которого Юрий Петрович прибегал только к хлёбову на костях; он покупал в гастрономе говяжьи кости по сорок две копейки за килограмм и варил из них бульон дня на два-три, заправляя его то капустой с морковью, то вермишелью с жареным луком, то картофелем с луком же, то крошечкой из всего. На день ему требовалось приблизительно на двадцать восемь копеек подового хлеба, копеек на десять подсолнечного масла, одна луковица, двести граммов капусты либо

вермишели, пяток картофелин, две морковки, – словом, он вполне укладывался в рубль-целковый, да еще его снабжала сушеным укропом жалостливая соседка по этажу. На заводе он питался исключительно винегретом – десять копеек порция, если считать три ломтя хлеба; в Центральных банях он не бывал с тех пор, как ушла жена.

Успеху этой отчаянной экономии во многом способствовало то обстоятельство, что у Лютикова еще с лучших времен оставался порядочный гардероб. У него был отличный выходной костюм, только брюки внизу немного пообтрепались, теплая куртка, легкая куртка, шапка из кролика и несносимые желтые башмаки. Разумеется, он принял специальные меры для поддержания своего гардероба в пожизненном состоянии, например: смазывал башмаки рыбьим жиром от разрушающего действия вод, и зимой ходил не по тротуарам, если они были посыпаны солью, разъедающей подошвы, а ходил обочь; дно платяного шкафа, где он держал одежду, было сплошь выстелено засушенными веточками полыни, которой боится моль; выходной костюм он никогда не гладил, а напускал полную ванну горячей воды и держал его над паром, когда собирался приодеться и отправиться со двора.

Из редких, причудливых даже, способов экономии следует упомянуть следующие: чтобы веник служил дольше, он с час вымачивал его в воде перед употреблением, дома ходил в онучах из жениных тряпок вместо носков (он и босым бы ходил, да по старости ноги мерзли), отказался от телефона и подбирал газеты в мусорных урнах, если вдруг являлось настроение почитать.

Когда накопления Лютикова стали мало-помалу приближаться к заветной сумме, он начал потихоньку присматривать подходящий автомобиль. Он звонил от жалостливой соседки подателям объявлений, ходил по окрестным гаражам и автосалонам, где торговали подержанными машинами, и всё-то ему было не по душе: то порошки подгнили, то шаровые опоры покажутся ненадежными, то электрохозяйство в запустении, то как-то странно урчит мотор.

Пока суть да дело, он полюбил пересчитывать свои деньги; бывало, сядет за стол на кухне, выставит старинную жестяную банку из-под ландрина, которую он вообще держал в обувном ящике, вместе с гуталином, щетками, скляночкой рыбьего жира и запасными шнурками, насмотрится на банку вдоволь, показывая глазами и движением губ как бы затаенную симпатию, потом аккуратно снимет крышку, вытащит пачку денег и сделает так, как перед сдачей игральных карт. Затем он разделял пачку на стопки в зависимости от достоинства банкнот и пересчитывал каждую в отдельности, занося итоги на полях отрывного календаря. Каждый раз сумма всё приближалась к вожаделенной цифре с тремя нулями, и Юрий Петрович мечтательно засматривался в потолок.

Через некоторое время, именно 9 декабря, как раз на Георгия Победоносца, когда Лютиков уже доэкономничался до того, что вместо фабричного снотворного пил пустырник, деньги набрались-таки, и он купил в гаражном кооперативе «Дружба» заветный автомобиль. Это были «жигули» четвертой модели в очень приличном состоянии, цвета «зеленый сад».

Может быть, потому что в масштабе отдельной личности событие это было огромным и силами простой души его было затруднительно охватить, он что-то не испытал того прилива счастья, которого вообще следовало ожидать. Даже напротив, – на душе у него было как-то тускло, кисло, и в голову лезли разные больные мысли. «Ну вот купил я автомобиль, – размышлял он, глядя в окошко на заснеженную Москву, – а вдруг меня надули и подсунули никуда не годный товар, или поеду я завтра в поселок Передовик и дорогой в меня въедет пьяный автобус, и попаду я в клинику имени профессора Склифосовского, вместо того чтобы попасть в поселок Передовик...»

Как в воду глядел Юрий Петрович: утром следующего дня он, действительно, поехал к себе на дачу и на одном из перекрестков по Аминьевскому шоссе ударил «роллс-ройс», принадлежавший одному важному подмосковному бандиту, но, впрочем, только выбил правый

задний фонарь и немного помял крыло. Когда после коротких и энергичных переговоров выяснилось, что Юрию Петровичу решительно не из чего оплатить ущерб, у него безоговорочно отобрали покупку и на прощание несильно ударили монтировкой по голове.

Едва оправившись после этого случая, Лютиков стал ежедневно бывать в Главном областном управлении автоинспекции, что в Старо-Давыдовском переулке, жаловаться, донимать начальников разных рангов, сочинять бумаги, пока однажды дежурный милиционер не сказал ему: «Да пошел ты!..» – и демонстративно захлопнул перед его носом окошко в часть. Больше его в Главное управление не пускали, даром что он с неделю фрондировал перед подъездом и один раз устроил большой скандал.

В конце концов на нервной почве у него развилось крупозное воспаление легких, он слег, проболел несколько дней и умер, как ни ходила за ним жалостливая соседка по этажу.

Если бы дело происходило в Приморских Альпах, на этом можно было бы ставить точку, так как и мораль изложенной истории очевидна – дескать, «не собирайте себе сокровищ на земле, где ржа истребляет, а воры подкапывают и крадут», и собственно история изложена до логического конца. Но, по-нашему, тут только и начинается искусство, прорастающее в действительность, или, наоборот, действительность, сильно отдающая в искусство, то есть в противоестественно организованный материал. К тому же у русских историй не бывает логического конца. Вернее сказать, концов бывает всегда несколько, а такая множественность сама по себе отрицает логику, но это даже и ничего; ведь искусство по самой своей сути есть антипод логике, и потому что оно слишком своеобразно трактует причинно-следственные связи, и потому что человек прямоходящий логичнее человека разумного, который способен полдня просидеть за книгой, вместо того чтобы заработать избыточный миллион.

Итак, из прискорбной истории с приобретением и утратой, где фигурирует наш современник Юрий Петрович Лютиков, можно извлечь чисто гоголевское направление и прямо показать бунтующего маленького человека, которого обидел наш неугомонный, извечный вор. Положим, на четвертый день по смерти пенсионера Лютикова от крупозного воспаления легких, в Москве и ее окрестностях стали происходить одно за другим жестокие преступления против собственности, а главное – собственников, вогнавшие в панику столичное начальство и множество горожан. Именно в Москве и Московской области в то время стояло на учете четыре «роллс-ройса», и все они поочередно были разделаны в пух и прах. Один сгорел, второй взорвали, третий нашли на дне Яузы, четвертый как-то сам собой рухнул наземь с Крестовского путепровода, и при этом на останках автомобилей злоумышленник неизменно изображал краской из пульверизатора для граффити загадочные инициалы Н. М., что, впрочем, могло означать и «новые марксисты», и «неуловимые мстители», и «новопреставленные мертвецы». Когда дело дошло до «роллс-ройса», формально принадлежавшего теще одного крупного чиновника из Главного областного управления автоинспекции, на ноги была поднята вся московская милиция, но тщетно: преступника не нашли.

Видимо, именно по этой причине московский воровской мир и деловые круги столицы потрясли кое-какие новеллы, из тех что опять же возможны исключительно на Руси. Так, уже никто не покупал автомобили марки «роллс-ройс», и в год начисто разорились две дилерские фирмы; один знаменитый бандит до того перепугался повторения Великого Октября, что покончил жизнь самоубийством; целый класс коммерческого лица имени Леонтьева оставил заведение, положив, что профессия предпринимателя слишком опасна для жизни, и в полном составе перевелся в библиотечный техникум, что в Котлах; две известные нефтяные компании на всякий случай перечислили Министерству культуры солидный куш. Конечно, кое-что из этих новелл может показаться грубо несовместимым с возможностями нашего человека, но разве купец I-й гильдии Алексеев-Станиславский не ухнул все свои капиталы в развитие сценического искусства, и разве миллионер Савва Морозов не давал деньги боль-

шевикам на ту самую социалистическую революцию, по итогам которой потом голодала его вдова?

Закончить эту вариацию, основанную на гоголевской традиции, можно, например, такого пафоса напустив: «И еще долго носился над Москвой дух пенсионера Юрия Петровича Лютикова неким черным демоном, смущая робких, запутавшихся москвичей и внушая такую мысль: какие, однако же, потрясения в обществе способен произвести даже самый маленький человек...»

Также нетрудно разработать вариацию истории с приобретением и утратой, если опереться на правила социалистического реализма, в которых родная литература функционировала чуть ли не сотню лет. Учитывая опыт предков и, в частности, прекомичный рассказ, появившийся в 30-х годах прошлого столетия, о некоем сознательном рабочем, который копил на новый диван, а потом из пролетарской солидарности усыновил негра, нужно будет направить повествование по следующему пути...

Пускай 9 декабря Юрий Петрович зайдет позвонить к своей жалостливой соседке и застанет ее в слезах отчаянья, чуть ли не в истерике: она будет захлебываться мокротой, делать руками в воздухе и по временам всю тяжесть своего тела обрушивать на диван. Окажется, что ее сынок проиграл каким-то бандитам в «очко» три тысячи целковых, и те в случае неуплаты карточного долга обещали его убить. Лютиков подумает-подумает, и ни с того ни с сего решит отдать свои накопления жалостливой соседке по этажу. В сущности, и этот великодушный поступок вполне сообразуется с нашей фантазмагорической действительностью, и он даже совершенно в характере русского человека, который в начале прошлого столетия отказался от насущнейших удобств жизни ради благоденствия трудящихся всей Земли.

Закончить сию вариацию нужно так: «Он сходил в свою квартиру, достал старинную жестяную банку из-под ландрина, вытащил деньги, вернулся к соседке по этажу и вручил ей толстую пачку банкнот, стянутую резиночкой для волос.

Соседка с недоумением на него посмотрела, неловко улыбнулась и сказала:

– Какой все-таки вы дурак!»

А то можно решить лютиковскую историю в фантастическом ключе, в котором у нас работали Гоголь, Николай Федоров, Циолковский, Михаил Булгаков и авторы социально-экономических катастроф. Дескать, 9 декабря, на Георгия Победоносца, с утра пораньше Лютиков сел пересчитывать свои накопления, как раз насчитал три тысячи целковых и на радостях отправился в спальню, где у него для такого случая была припрятана бутылочка армянского коньяку. Он вернулся на кухню за стаканом, и вот что открылось его изумленному взору: старинная жестяная банка из-под ландрина была пуста. Он только через правое плечо не поглядел, а так всё было на месте: и табуретка, на которой он только что сидел, пересчитывая банкноты, стол, ваза гжельского стекла с засушенными ирисами, поллитровая склянка сахарного песка. Юрий Петрович в ужасе подумал, что, может быть, он перепрятал деньги, да позабыл... Тогда он перерыл все укромные места в гостиной и в спальне, но заветной пачки не обнаружил, убито сел на диван и принялся рассуждать: еще десять минут тому назад деньги были, в квартиру за это время никто не заходил, сам он даже в критическую минуту не способен выбросить свои накопления в окошко, – следовательно, деньги должны быть тут. Он вернулся на кухню, чтобы продолжить поиски, и вот что увидел на этот раз: справа от него, облокотясь о мойку, стоял мужик. На нем был китель старого образца, без погон, со знаками автомобильных войск в петлицах, синие форменные брюки с генеральскими лампасами и обыкновенные армейские башмаки. Лютиков до того был сбит с толку, что даже не испугался, и только подумал как-то лениво: «Этого мужика надо обмозговать».

– Вы кто, товарищ? – после некоторой паузы спросил он.

– Я-то? – переспросил мужик, пронзительно глядя Лютикову в глаза. – Я Георгий Победоносец. Это хотите верьте, хотите нет.

– Ну почему же, я вам верю, – отозвался Юрий Петрович, действительно в ту же минуту поверивший тому, что у него на кухне пребывает святой Георгий Победоносец, только под видом простого отставника.

– Вот вы мне скажите, – завел святой, – зачем вам сдался этот автомобиль? Я вас как ваш ангел-хранитель спрашиваю: зачем?!

Юрий Михайлович пожал плечами и подумал вчуже: «Действительно – а зачем?»

– Хорошо, – продолжал святой Георгий, – я поставлю вопрос иначе... Зачем обрекать себя на лишения, много лет скопидомничать и в конце концов приобрести полторы тонны металла, если остается жить неполные две недели? Вы соображаете: неполные две недели осталось жить?!

– Как это?... – настежь распахнув глаза, справился Лютиков.

– А вот так! Не вмешайся я в это дело, завтра вы купите подержанную «четверку» в гаражном кооперативе «Дружба» и послезавтра поедете в поселок Передовик. Но не доедете, поскольку на Аминьевском шоссе стукнетесь с бандитским «роллс-ройсом», и в результате у вас отберут ваш несчастный автомобиль. В среду вы будете отлеживаться, в четверг пойдете жаловаться в милицию, потом заболете на нервной почве и на той неделе отправитесь в мир иной... Как вам нравится такая перспектива?

– Она мне совсем не нравится, – сознался Юрий Петрович и помотал раздумчиво головой.

– Поэтому я вам и советую как ваш ангел-хранитель: наплюйте вы на этот автомобиль! Зачем вам на старости лет эти глупые хлопоты – техосмотр, запчасти, мздоимцы под видом милиционеров, лишний раз рюмочку не выпить и прочая ерунда?..

– Согласен, – сказал Лютиков. – Завтра начинаю другую жизнь.

Сколь фантастической ни покажется эта последняя вариация, нужно признать, что и она по-своему вписывается в российскую действительность, где многое совершается по законам драматургии, а не электричества, и «бог из машины», разрешающий неразрешимые ситуации, есть принцип едва ли не бытовой. Более того: явление святого Георгия Победоносца на ровном месте представляется не таким уж фантастическим по сравнению с тем, что вот в столице государства, населенного представителями белой расы (которые, кстати заметить, дали совершенный подвиг европейца – русского интеллигента), посреди необъятной площади лежит мумия фараона, заключенная в мрамор и пуленепробиваемое стекло.

Закончить эту вариацию нужно так: «На другой день после свидания с ангелом-хранителем Лютиков ударился во все тяжкие, именно: купил себе новые брюки, белужьей икры к завтраку и вскоре сделался завсегдатаем ресторана «Москва-Париж». На следующей неделе его застрелили у подъезда ресторана, приняв по ошибке за нежелательного свидетеля по одному важному делу, и он все-таки отправился в мир иной».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.